

215

ГРАНИ

GRANI

И

Н

А

Р

Г

2005

215

2005



ГРАНИ

Ежеквартальный литературный журнал

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,
философия, публицистика,
литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,
С. Левицкого, Н. Лосского,
В. Максимова, О. Мандельштама,
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,
Б. Пастернака, К. Паустовского,
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина
и многих других отечественных
и эмигрантских авторов.

* * *

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь публикуя произведения, помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов
Редактировали:
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,
Б. В. Серафимов
1947–1952 Е. Р. Романов
1952–1955 Л. Д. Ржевский
1955–1961 Е. Р. Романов
1962–1982 Н. Б. Тарасова
1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч
1984–1986 Г. Н. Владимов
1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

Издатель и Главный редактор
Татьяна Жилкина

Редакционная коллегия

Москва – Париж – Берлин
Сан-Франциско

Г Р А Н И

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL

Год LX

№ 215

2005

СО Д Е Р Ж А Н И Е

«ГРАНЯМ» — ШЕСТЬДЕСЯТ!

Марина ТАРКОВСКАЯ. <i>«...Восстановил единую кровеносную систему русской культуры»</i>	5
Протоиерей Михаил АРДОВ. <i>«...По-прежнему отличаются свободой мысли»</i>	6
Аркадий АЛЕКСЕЕВ. <i>«...Вопросы общечеловеческой значимости»</i>	8
Тамара ЖИРМУНСКАЯ. <i>Дальние и ближние голоса</i>	12
Александр ЗОРИН. <i>Кто сегодня читает «Грани»</i>	15
<i>ПРОЗА</i>	
Иван БУНИН. Сны	18
Борис ФИЛИППОВ. Монастырь. Святое Паозерье	25
Ольга БУБНОВА. Счастье	41
Владимир КОСТЕЦКИЙ. Окончание романа	52
<i>ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННОКОВ</i>	
Лидия АЛЕКСЕЕВА. О Куприне	56
Г. АЛЕКСИНСКИЙ. Ее доброй и светлой памяти	68
Наталия ТАРАСОВА. Гражданин живой России	88

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Евгений ЗАМЯТИН. Современная русская литература	95
<i>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ</i>	
Проф. М. НОВИКОВ. Первые шаги в эмиграции	114
Юрий КРОТКОВ. Пастернаки. Борис Леонидович. Последние дни Пастернака. Семья Пастернака	128
<i>НАСЛЕДИЕ</i>	
Т. АЛЕКСИНСКАЯ. Разбирая архив Ивана Алексеевича Бунина	175
Г. ПЕТРОВ. Забывтые юбилей	182
Юрий ТЕРАПИАНО. «Смотр». Из моего литературного архива	196
<i>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</i>	
Александр НЕЙМИРОК. О Бунине	207
<i>БИБЛИОГРАФИЯ</i>	
В. КУЛЬБИЦКИЙ. Об Алексее Ремизове	216
<i>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</i>	
<i>Современник о современниках. И. А. Бунин. Воспоминания; Творческие университеты. И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева. Юность; Жуковский Бориса Зайцева. Борис Зайцев. Жуковский; Три книги. М. П. Бок. Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине; А. И. Деникин. Путь русского офицера; М. М. Новиков. От Москвы до Нью-Йорка</i>	221

Обложка художника Н. Мишаткина

Марина Тарковская. Россия

**«...Восстановил единую кровеносную систему
русской культуры»**

Поздравляю журнал «Грани» с шестидесятилетним юбилеем.

Многие годы журнал был закрыт для нашей страны, его читателями были русские люди, оказавшиеся по ту сторону «железного занавеса».

Оценивая сейчас деятельность журнала, хочется сказать, что он самым естественным образом восстановил единую кровеносную систему русской культуры, трагически разделенную многие годы.

Вот уже десять лет как изданием журнала героически занимается Татьяна Жилкина. По моему мнению, заслуга редакции в том, что ее взгляд на литературный процесс глубок и, одновременно, демократичен, то есть лишен модных пристрастий и «тусовочных» амбиций.

Я благодарна редакции — на страницах «Граней» печатались воспоминания о моем брате, кинорежиссере Андрее Тарковском и мои рассказы из готовящегося второго издания книги «Осколки зеркала».

Надеюсь, что несмотря на финансовые трудности журнал будет жить и наше сотрудничество продолжаться.



Москва

Протоиерей Михаил Ардов. *Россия*

«... По-прежнему отличаются свободой мысли»

В прежние времена при власти коммунистов «Грани» воспринимали как некий глоток свободы. То, что печаталось в журнале — а это был и Самиздат и Тамиздат, — свидетельствовало о том, что несмотря ни на что русская литература жива и даже едина.

В более поздние времена мне посчастливилось стать одним из его авторов. Именно в этом замечательном журнале были впервые опубликованы главы из моей, как я считаю, самой главной книги «Мелочи архи..., прото... и просто иерейской жизни».

...Ранней весной две тысячи второго года мне довелось быть в маленьком Калифорнийском городке Монтерее и выступать перед огромной аудиторией в замечательном учреждении — переводческой школе американской армии.

К великой своей радости я узнал от друзей, что среди присутствующих в зале находится нынешний главный редактор моего любимого журнала.

Помню, в разговоре с ней я сказал: «Грани» всегда публиковали то, что не принимали другие печатные издания. До встречи в Москве».

Встреча состоялась в Доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке уже в начале июня на презентации оче-

редного 201 номера журнала, в котором в разделе «Философия. Религия. Культура» была опубликована моя статья «Закономерный финал «печальнейшей комедии».

Мне так радостно сознавать, что «Грани» живы и по-прежнему отличаются свободой мысли!

Так важно потому, что над российской словесностью сгущаются тучи — и не дай Бог! — а прогнозы самые не утешительные — мы вновь доживем до подцензурных времен. И тогда такое издание как «Грани» может стать самым главным литературным событием.

Вот по каким причинам я присоединяю свой голос ко всем тем, кто поздравляет журнал со славным юбилеем.

Игорь М. Ардов

Москва

Аркадий Алексеев. *Калифорния. США*

«... Вопросы общечеловеческой значимости»

Зависть, властолюбие, тщеславие, ненависть, отчаяние — такими словами Лев Толстой в начале XX века охарактеризовал известные проблемы человечества.

Это высказывание Толстого приведено в 210 номере за 2004 год журнала «Грани». Для «Граней» болезни человеческого общества всегда были важнейшей темой; и не просто как рубрики в тексте, но как личные переживания и боль большинства авторов журнала.

Конечно, это не случайно. Ведь «Грани» посвящены русской культуре. Независимо от национальности автора, если он пишет на русском языке и живет или жил в России, его мировоззрение остается русским с точки зрения общественных ценностей, психологии, чувств, исторических и социальных проблем. А это значит — он не может не переживать человеческие трагедии с особой остротой.

Кроме того, жители России на протяжении более семидесяти лет советской власти были жертвами навязанной им идеологии: искусственной, нелогичной, фальшивой, лживой и жестокой. Гнет этой идеологии заставлял тех, кто находил отдушину в «Гранях», с еще большей страстью писать об общечеловеческих проблемах в их применении к России.

Итак, что же это такое «русское» мировоззрение, которое так характерно сегодня для «Граней»?

Чтобы попытаться ответить на этот непростой вопрос, обратимся к журналу.

Известный художник и коллекционер Владимир Мороз в тюрьме КГБ искал поддержку в мировоззрении Льва Толстого. Вот, что он говорит о великом писателе: «Надо бы всем помнить слова Толстого, сказанные им о русском народе в связи с насилием над ним, что оно «... совершалось, и будет долго еще совершаться над этим кротким, мудрым, святым и так жестоко обманутым народом».

И это не значит, что Мороз «толстовец» в обычном вульгарном понимании этого слова. Нет, он просто ищет и находит в Толстом общественные ценности, помогающие ему выжить. Эти ценности чисто русские, как видно из слов Толстого о русском народе и в других его высказываниях, вызывающих восхищение Владимира Мороза: «Ужасно, страшно, бессмысленно связывать свою жизнь с материальными условиями — жена, дети, здоровье, богатство».

Пренебрежение к материальным условиям — не в этом ли сила, но и слабость русского народа?

Сами условия, в которых художник вспоминает слова Толстого о ненужности материальных благ, показывают и силу этих слов, и их слабость. Как успокаивает душу призыв не искать жизненных удобств именно там, где их нет и быть не может!

Автор этих строк знает об этом на своем опыте. Когда я сидел во внутренней тюрьме КГБ в пятьдесят восьмом году мысль о том, что мне ничего не нужно, что я внутренне свободен была одной из самых приятных.

Но когда вы выходите на свободу и сталкиваетесь с более или менее доступными удобствами, вы начинаете хотеть иметь прописку в большом городе, получить отдельную квартиру, обзавестись семьей и прочее и прочее.

Другой пример «русскости».

У Беллы Ахмадулиной в ее «Воспоминании о Сибири» есть такие замечательные слова: *«Припоминается мне снова // Что там,*

среди земли и ржи // Мне не пришлось сказать ни слова, // Ни слова маленького лжи».

Природа не лжет, и человек, сливающийся душой с ней, не может лгать. Это очень по-русски.

В «Тарусских страницах» (Второй выпуск), в удивительном по мастерству издательской работы, иллюстрированном прозаическом и поэтическом сборнике, изданном «Гранями», сошлись воедино произведения таких авторов, как Константин Паустовский, Юрий Казаков, Булат Окуджава, Иосиф Бродский, Осип Мандельштам, Надежда Мандельштам, Всеволод Иванов, Фрида Вигдорова, Борис Слуцкий, Николай Глазков, Андрей Синявский, Александр Галич, Юрий Трифонов, Виктор Шкловский, Давид Самойлов, Юлий Даниэль, Юрий Домбровский, Владимир Максимов.

В сборнике и факсимиле рукописей, и фотографии авторов, и репродукции картин художников.

Много строчек посвящено советскому времени (безвременью). Тут писатель часто и жертва режима и в то же время защитник России в страшной войне, и в результате он оказывается вынужденным защитником режима. Это жестокое противоречие — спасая Россию, ты спасаешь Сталина — особая боль русского солдата, понятная только ему.

Правда, часто неосознанная. Писатели — многие бывшие солдаты — предпочитают говорить об ужасах войны вообще и о том, как не повезло их поколению. Но внимательный читатель может уловить особую дополнительную горечь, как будто солдат не договаривает, кто бросил их в кровавую мясорубку...

Несмотря на всю его «русскость», неверно будет сказать, что «Грани» — это националистический журнал, нет: в нем поднимаются вопросы общечеловеческой значимости.

Интересные исторические эссе часто не имеют никакой «русской подоплеки». Полемическая статья Андрея Новикова, критикующая идеи Виктора Суворова о подготовке Сталиным «блицкрига» против Германии в 1941 году, — это изложение военно-исторических аргументов за пределами идеологии.

В целом «Грани» — это журнал со всесторонним освещением проблем российской и всемирной культуры.

Как сказано в Первом номере журнала, вышедшем в 1946 году под редакцией Романова:

«Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее, ищет и находит.

Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он, прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию».

В наши дни «Грани» все тот же источник сведений о русской культуре, призывающей к моральному совершенствованию.



Беркли

Тамара Жирмунская. Германия

Дальние и ближние голоса

О том, что выходит «за бугром» такой журнал, я знала, но не то что прочитать — подержать его в руках долго не представлялось возможности. «Тамиздат» приходил в наш дом не часто и ограничивался книгами Солженицына, Василия Гроссмана, Юрия Домбровского, Надежды Мандельштам, поэтами Серебряного века.

Иногда мой муж кинодраматург Павел Сиркес, неутомимый книголюб, приносил на одну ночь (!) разрозненные тома «Континента», а вот до «Граней» дело не доходило.

Из «запрещенной литературы» я в первую очередь выхватывала то, что меня по-настоящему волновало: стихи не публиковавшихся дома поэтов и религиозные статьи. Когда вера в Высшее начало не поставлена традиционным воспитанием или поставлена самоучкой неправильно, у человека определенного склада возникает жгучий интерес к эзотерике, к паранормальным явлениям. Думаю, не одна я воспламенялась от имен Блаватской и Штейнера, бросалась от спиритизма к хиромантии, от НЛЮ к «снежно-му человеку». До настоящей веры было еще далеко.

Впрочем, в официальной советской печати не поощрялось ни то, ни другое, ни третье...

Уже в Германии из мемуаров моего однокурсника по Литературному институту Василия Бетаки я узнала, какого подвижничества требовало от главного редактора Наталии Тарасовой издание «Граней» в семидесятые годы. Сам Василий Пав-

лович напечатал в журнале «Пляски истории»: «Менуэт», «Мазурку» и «Танго». Теперь он издается в России и прочесть это могут все. Но, как говорится, дорого яичко ко Христову дню...

Публикация Лии Владимировой каким-то образом дошла до меня еще тогда; возможно, то была самиздатовская перепечатка из «Граней». Бетаки благодарит журнал за преемственность в русско-еврейской тематике, за то, что он всегда противостоял «надуманному конфликту между иудаизмом и христианством». Я просто цитирую своего старинного товарища, не давая комментариев, так как недостаточно подкована для таких серьезных утверждений.

Со своей стороны могу добавить, что мой духовный отец Александр Мень всегда подчеркивал: у великих религий гораздо больше общего, чем различий; бесстрашно шел на диалог с иудаизмом, мусульманством. Он жил как христианин и умер как христианин.

№ 201 2002 года попал ко мне в руки, когда я работала над главой о Марине Цветаевой для своей книги «Библия и русская поэзия». Компьютера у меня тогда еще не было. Моя рабочая тетрадь распухла от выписок из книг о Цветаевой, брошюрок в несколько десятков страниц, ливнем хлынувших газетных и журнальных публикаций. Но судьба ее мужа Сергея Эфрона мне все еще не была до конца известна...

И вот читаю в «Гранях» с трудом сдерживая стон: Сергей Яковлевич Эфрон стал жертвой «Коммунарки», где лежит «заговорщицкая верхушка» — известные со времен гражданской войны комбриги, комдивы, «легендарные комиссары», весь цвет Академии Генштаба РККА. И Бухарин здесь, и Артем Веселый, и Борис Пильняк...

Какой зловещий, парадоксальный и по-своему романтический конец! Сбылось пророчество Марины Цветаевой: «Такие в роковые времена // Слагают стансы и идут на плаху»...

И «Тарусские страницы» Второй выпуск прочитала я впервые под обложкой «Граней». Многие мне не верят, но Первый выпуск я получила так: узнала от своего друга, прекрасного прозаика Юрия Казакова, что выходит этот сборник, отправила открытку в Калужское книжное издательство — где попросила выслать книгу наложенным платежом. Денег у меня, вчерашней студентки, было с гулькин нос, но расплатиться с почтальоном хватило...

Читать Второй выпуск «Тарусских страниц» я могла только через ахматовскую «радугу слез». Сколько дорогих имен! Какие ассоциации!..

Когда дошла очередь до пронзительного мемуара Федора Поленова о Юрии Казакове, вспомнилось письмо ко мне в конце пятидесятых. Писатель тогда только познакомился с внуком художника, бравым моряком и начинающим литератором, побывав в его родовом гнезде на берегу Оки и захотел иметь такое же — если не для себя, то для потомков.

Дом удалось купить. В подмосковном Абрамцеве. В долг: Юра был не богат. Отрабатывал его годами — переводя эпопею казаха Нурпейсова «Кровь и пот». На память о той поездке остался казаковский рассказ «Трапи-вали». Хрестоматийный, как теперь принято выражаться...

С нетерпением открываю «Грани» №209. Авторы по большей части — знакомые, можно даже сказать, родные: Белла Ахмадулина, Нина Бялосинская, Николай Панченко, Владимир Лазарев...

Два исторических потрясающих материала: Лидии Головковой «Мученический венец барона фон Гревеница» и Виктора Голицына «Безумие революции». Второе название, относящееся к «безумию» так называемой Великой французской революции, вполне могло бы стать подзаголовком к трагической саге давно обрусевшего, служилого, аристократического древнегерманского рода, почти сведенного под корень в России после семнадцатого года...

«Грани» упорно ведут свою линию, пытаясь если не образумить человечество, то хотя бы назвать всемирное Зло злом, а не подавать его под маркой добра. Мы-то знаем, какие ухищрения всегда зыбкой мысли пускаются в ход, чтобы этого достичь.

Перефразируя название эссе Владимира Лазарева «Свечи на ветру и голоса издалёка» — и в этом выпуске, как в предыдущих, звучат дальние и ближние голоса, не гаснут даже на ветру поминальные и за здоровье всех живых зажженные свечи.

Т. Шурмулова

Мюнхен

Александр Зорин. Россия

Кто сегодня читает «Грани»

К журналу «Грани» я испытываю особое почтение. В начале восьмидесятых на его страницах появилась проза Бориса Юлиановича Крячко под псевдонимом Андрей Койтс, писателя оригинального и поучительного. С тех пор я старался не пропустить ни одного номера, оказавшегося у кого-нибудь из друзей... Тем самым выполняя свое «транспортное» образование. «Транспортное» — потому что читать удавалось главным образом в общественном транспорте. В те годы пошатывающийся вагон или переполненный автобус в часы пик был моим рабочим кабинетом.

Кроме того, «Грани» и «Вестник РСХД» доставались мне на недельку-другую от отца Амвросия, молодого сельского батюшки, который покупал их у книжного барыги вместе с другими тамиздатовскими книжками. У того полки ломились от тамиздата. Отец Амвросий был монах и мог позволить себе, приезжая в Москву, тратить деньги на книги. В городке, где он служил, молодежь ходила к нему, как в избу-читальню, пока местные чекисты не нагрянули с обыском и не увезли всю его богатейшую библиотеку. Его перевели в другой город под более строгий надзор, библиотеку, разумеется, не вернули... И он начал покупать книги снова... у того же барыги.

В очередной раз придя к нему, священник увидел знакомый номер «Граней» со статьей Ивана Шмелева, которую не дочитал по причине ее внезапного изъятия, и решил этот номер купить тоже. Раскрыл... и вдруг обнаружил свои пометки... Он

всегда читал книги с карандашом... Это был точно его номер... Отец Амвросий, осененный догадкой, поставил журнал на место и вежливо простился с хозяином дома...

Расторопные чекисты свои трофеи не сжигали, как им было предписано, а пускали в оборот. Так что, наверное, все книжки «Граней», перешедшие государственную границу, — работали, принося кому-то бесценные познания, а кому-то немалые барыши.

А кто сегодня читает «Грани», которые, кстати говоря, продаются всего лишь в двух-трех московских магазинах? Кто? Да я, например... Открывая для себя и новых авторов и бездну исторических и документальных материалов о многострадальной России. А еще содержательные статьи в отделе «Философия. Религия. Культура».

Редакторы многих отечественных журналов отворачиваются сегодня от религиозных проблем, считая, во-первых, что *религиозный бум* кончился и читающей публике не до того... А во-вторых, им самим бывает трудно разобраться во всяких там высоких материях — они ведь духовных «академиев» не кончали.

А еще — журнал «Грани» читают на зоне, в Исправительных учреждениях: в колониях и СИЗО — Московской, Тульской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Воронежской, Брянской областях. А также в Мордовии. Куда удастся его доставить вместе с художественной и духовной литературой. Вот уже семь лет московский Храм Космы и Дамиана собирает книги и журналы для тюремных библиотек. Татьяна Жилкина, главный редактор «Граней», безоговорочно жертвует Храму некоторое количество каждого номера.

Сегодня в колониях поощряется вера в Бога. Командой свыше приказано иметь во всех Исправительных учреждениях храмы или молитвенные комнаты. Православная церковь усиленно трудится на этой каменистой почве. И я не сомневаюсь, что «Грани» помогают ее возделыванию, как некогда они помогали отцу Амвросию в сельском приходе посреди огромной зоны, называвшейся тогда Советской Россией.



СТРАНА «РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ»

Эпоха перед Первой мировой войной была сложная, мучительная, страшная. Мы теперь живем в иные, более суровые, но и более простые времена. Богатство тех оттенков нами утрачено. Ритм наших дней не позволяет остановиться, лелеять каждое движение души, но зато Добро и Зло разграничены более резко.

Екатерина Таубер.
«Грани» № 33. 1963

ПРОЗА

Иван Бунин

Сны

В поле было холодно, туманно и ветрено, смерклось рано. Еле светили подкрученные фитили ламп и резко воняло керосином в пустом вокзале нашей захолустной станции, на буфетной стойке в третьем классе спал под тулупом станционный сторож. Я прошел в комнату для господ — там медленно постукивали в полусумраке стенные часы, на столе желтела прошлогодняя вода в графине... Я лег на вытертый плюшевый диван и тотчас уснул, утомленный тяжелой дорогой под дождем и снегом. Спал я, как мне казалось, долго, но, открыв глаза, с тоской увидал, что на часах всего половина седьмого.

«И прошел тот день к вечеру темных осенних ночей», вспомнилась мне печальная строка из какой-то старой русской книги.

По-прежнему было холодно и тихо, по-прежнему чернела за окнами тьма...

Когда часы нерешительно, точно раздумывая, пробили восемь, где-то завизжала и гулко хлопнула дверь, а на платформе жалобно занял звонок. Выйдя в третий класс, я увидал мещанина в картузе и чуйке, который, поставив локти на колени и положив в ладони голову, неподвижно сидел на скамье.

— Это поезд вышел? — спросил я.

Мещанин встрепенулся и взглянул на меня испуганно. Потом что-то пробормотал и, нахмурившись, быстро пошел к дверям на платформу.

— У него жена в родах умирает, — сказал проснувшийся сторож, сидя на буфетной стойке и вертя цыгарку из газетной бумаги. — У всякого, значит, свое горе, — прибавил он рассеянно и вдруг сладко зевнул, оживленно, с непонятым злорадством, заговорил:

— Вот тебе и женился на богатой! Второй день мучается, Царские Врата в церкви отворили — ничего не помогает! Теперь в город за доктором скачет, а к чему, спрашивается?

— Думаешь, не поспеет?

— Никак! — ответил сторож. — Воротится он завтра вблизи вечера, а она к тому времени помрет. Беспременно помрет, — прибавил он убежденно. — Три раза, говорит, на оракул кидал — кто мол, раньше помрет, я али жена, и три раза выходило одно и то же. Перва... как это? «Нечего тебе простирать в даль свои намерения», а потом и того хуже: «Молись Богу, не пей вина и пива и готовься в монастырь». А вчерась, говорит, во сне видел: будто брили его догола и все зубы вынули...

Он, верно, говорил бы еще долго, но тут тяжело зашумел подходящий товарный поезд. Снова завизжала и заныла входная дверь, показался кондуктор в тяжелой мокрой шинели с оторванным на спине хлястиком, за ним смазчик с тусклым фонарем в руке... Я вышел на платформу.

Там я долго ходил в темноте ветреной, сырой ночи. Наконец, сотрясая зазвеневшие рельсы, загорелся в тумане огромными красными глазами пассажирский паровоз. Я поднялся в полутемный, теплый и вонючий вагон, переполненный спящим народом, и уже на ходу поезда нашел свободную скамейку в углу около двери в другое отделение. В зыбком сумраке вокруг меня беспорядочно темнели лежащие на лавках и на поднятых спинках лавок, под полом гудели колеса, и, закрывая глаза, я все терял представление, в какую сторону идет поезд. Но прошел истопник с кочергой, похожий на негра, и не затворил возле меня двери. Послышался говор, потянуло махоркой... Мещанин, схавший в город за доктором, сидел и курил с угрюмым, сосредоточенным выражением лица на краю четвертой от двери лавки у чьих-то ног, а за раство-

ренной дверью возле меня, в дымном сумраке под фонарем, тесной кучкой курили мужики и слушали кого-то, сидевшего против них.

— Да-а, братцы мои, — слышался сквозь гул бегущего вагона чей-то голос: — Да-а. И попадись в это самое разнесчастное село старичок священник из Елифани. Перевели его, значит, из города в самый, что ни на есть бедный приход, а за что перевели — пил дюже... значит, и перевели вроде как бы в наказание. А старичок-то пить-то пил, да оказался такой, что лучше и не надо. «Сколько, мол, отец Петр, за крестины аль за похороны берете?» — «Не я, свет, беру, а нуждишка! Сколько силы твоей есть» ...

И вот такого всегда. Перевели его, значит, весной, пробыл он честь-честью лето, а осенью и захворай. Года, что ли, такие, али простудился он, — лето-то, сами знаете, какое было, — только, видимое дело, слабеть стал. И вот, братцы мои, почуявши такую историю, вышел он на Покров после обедни к народу — и простился со всеми: «Должно, говорит, скоро я преставлюсь к Господу Богу, миряне, — простите, ежели согрешил что»...

И, сказавши таким манером, поклонился народу и ушел в алтарь. А пришедши домой, сел было обедать, есть не ел, только ложкой помутил, встал и говорит сторожу, что при ем заместо служки был: «Что-й-то, говорит, мне холодно, свет, и так-то скушно, — просто мочи нет. Все дочка-покойница вспоминается, все будто ждет она меня к себе... Убирай, мол, со стола — не идет мне еда на ум».

— «Напрасно вы такие речи говорите, папаша, — это сторож-то ему, — напрасно, мол, так скучились. Какие такие ваши года?» — «Нет, говорит, помру! Только дюже, говорит, везде горя много, и ужли никакой тому перемены не буде?» А на дворе, не хуже теперешнего, льет, невзгода и уж вечер заходит. Поглядел этак старичок в окошечко, махнул ручкой и ушел к себе в горницу. А в горнице оправил лампадку да и прилег на часок. То-ли он спал, то-ли так, в забытьи лежал, только уж ночь на дворе, а он все лежит да лежит...

— Вон она, дело-то какая! — сказал кто-то с глубоким вздохом. — На Покров, говоришь, вышло то все это?

— Да ведь сказали, на Покров! — сумрачно перебил сиплым голосом большой рыжий мужик с злыми глазами, в рваном полушубке, сидевший на краю лавки против рассказчика.

— На Покров, на Покров, — подтвердил рассказчик. — Вечером. Ушел, говорю, к себе в горницу и лег... Да-а... Ушел и лежит и так будто угрелся на лежаночке супротив лампадки, что никак не может подняться, помолиться да лечь как следует. Лежу, говорит, гляжу на лампадку и вдруг вижу: отворяется тихенько-тихенько этак дверь и входит ко мне дочь-покойница. «Что такое, думаю, что за притча такая, Господи?» А она проходит прямо ко мне и кладет мне руку на руку. Сама вся в черном, а лицо белая, белая да красивая! И этак вполголоса: «Встань, говорит, батюшка, иди поскорее в церковь». Я р-раз с постели, а ей уж нету! Посидел я, посидел, и, что больше сижу, все чудней и страшней мне становится. Вскочил наконец того на ноги, захватил ключи от церкви, накинуд шубенку, выбрался в сенцы... Темь, жуть, сенцы так и гудут от бури, — нет, думаю, надо итить! Спешу на гору, дохожу до церкви, — глядь, а там огонек теплится, ровно бы покойник на ночь поставлен. Оробел я опять, иначе перекрестился — и на паперть. Насилу ключом в замок попал. Отворяю дверь нет тебе никакого покойника, а только горит свечечка над Царскими вратами. Кто ж это, думаю, ее зажег, что такое буде? Стою ни жив, ни мертв, вдруг — р-раз! — отдернулась занавесь на Царских вратах, растворяются этак широко и тихо двери и выходит из темени, из самого, значит, алтаря агромадный красный кочет. Вышел, остановился, затрепыхал крыльями и как закричит на всю церкву: ку-ка-ре-ку! Пропел до трех раз и пропал. И только, значит, пропал, выходит из алтаря другой, белый, как кипень, и запел еще громче прежнего. И опять до трех раз... У меня, рассказывал священник поутру, руки, ноги отнялись, а я все стою и жду, что будет дальше, а дальше выходит и третий: черный, как головешка, только гребешок светится, и запел он братцы мои, таково жутко и стро-

го, что опустился я на коленки и говорю этак внятно и раздельно на всю церкву: «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!» И только, это, сказал я — нет тебе никаких кочетов, а стоит предо мною седенький-седенький монашек и говорит мне тихим голосом: «Не пужайся, служитель Божий, а объяви всему народу, что, мол, означает твоя видение. А означает она ба-альшия дела!»

— Вот за это-то за самое и называют вашего брата храпоидолами, чертями, — громко сказал мещанин, открывая глаза и угрожающе нахмуриваясь. — Ночь, скука, а он ишь какая суеверия сидит разводит! Ты к чему все это гнешь-то, а?

— Да ведь я ничего плохого, — несмело пробормотал рассказчик.

— Позволь, ты откуда взял-то все это?

— Как откуда? Сам священник, говорят, рассказывал.

— Священник энтот помер, — перебил мещанин.

— Это верно, верно... помер... вскорости и помер...

— Ну, значит, и брешут на него, что в голову влезет. Ведь это сновидение. Дубина!

— Да я-то про что ж? Известно, сновидение.

— Ну и молчи, — опять перебил мещанин. — Да и курить-то давно пора бросить, надымили — овин чистый!

— В первый класс иди, коли не ндравится, — сипло и зло сказал рыжий мужик.

— Побреши еще!

— Брешут собаки да твои свояки!

— Буде, буде, ребята! — закричали мужики, заволновавшись.

Бранившиеся смолкли, и в вагоне на время наступила тишина. Потом мещанин вздохнул:

— Ну и стерва, прости Ты меня, Господи, — задумчиво сказал он таким тоном, точно был в вагоне один.

И опять наступила тишина с глухим говором колес, храпом и дыханием спящих.

— А за что ругаться-то, — спросил рассказчик, когда бранившиеся угрюмо успокоились. — Кто первый начал-то? Ведь ты! Мы балакали промеж себе...

— Чо-орт! — ответил мещанин поспешно, и голос его страдальчески дрогнул. — Ведь ночь, скука, а у меня, может, жена и дите помирают. Пойми!

— Горя-то и у других не мене твоего, — ответил рыжий мужик.

— Не мене! — передразнил мещанин. — Я, может быть, тысячи не пожалел бы теперь на доктора, а он за сто верст, а дорога — ни проходу, ни проезду! Вчерась измаялся, ткнулся в чем был на постель и вижу — будто обрили меня догола и все зубы вынули! Пойми — сладко?

— Ага! — сказал рыжий мужик. — Покаялся! А то — сновидение!

— До Туровки кто имеет билеты? — прокричал кондуктор, проходя по вагону.

И, осветив фонарем чьи-то ноги, крепко хлопнул возле меня дверью в соседнее отделение.

Поднявшись с места, я снова отворил ее и стал на пороге. Мещанин сидел, спал, согнувшись, а рыжий мужик говорил со сдвинутыми бровями тому, который рассказывал:

— Ну, ну, доказывай дальше.

Несколько полушубков стеснилось вокруг рассказчика, несколько серьезных глаз блестело в дымном сумраке глухо гудящего и бегущего вагона. Рассказчик вздохнул и уже хотел было начать говорить, но тут рыжий поднял на меня глаза и сипло сказал:

— А тебе, господин, что надо?

— Послушать хотел, — ответил я.

— Не господское это дело мужицкие побаски слушать.

— Да-та, братцы мои, — снова заговорил рассказчик прежним тоном, как только я отошел, — и стоит, значит, перед ним седенький, седенький монашек и говорит ему тихим голосом: «Не пужайся, мол, служитель Божий, а слушай и объяви народу, что, мол, означает твоя видение. А означает она ба-альшие дела»...

Но, начав громко, рассказчик мало-помалу стал понижать голос. Тщетно я вслушивался — все тонуло в ропоте колес и в тяжком храпе спящих. Заслышав сквозь этот ропот и храп далекий заунывный свисток паровоза, возвещавший о станции, с

лавки возле меня поспешно вскочил юнкер в очках, оглянулся вокруг себя странными глазами и, опять быстро опустившись на скамью и облокотившись на свой сундучок, тотчас же опять заснул. Какая-то пожилая женщина в темном ситцевом платье поднялась, болезненно морщась, и поплелась в сени. Лежащие, мешки, сундуки и полушубки составляли грубую и печальную картину, которая раскачивалась передо мною. Мужик, рассказывавший про петухов, сидел, подавшись вперед к рыжему, и что-то негромко, но горячо говорил, но, когда я настораживался, чтобы расслышать, что он говорит, из дымного сумрака против меня ничего не было слышно, только блестели серьезные и злые глаза.

P. S.

Рассказ «Сны» написан мною в конце 1903 года, — полвека тому назад! — сдан был наспех в первый сборник «Знания» и напечатан в нем без моей корректуры, — я был тогда в Ницце, — чем и объясняются многия погрешности этого рассказа в его первой редакции (ныне мною устраненные). Весь он — вымысел, кроме того, что в нем г л а в н о е, — вещее и даже зловеющее, ибо уже не далек был роковой 1905 год, начало гибели России, — этот сон старичка священника, те три петуха, которых он будто бы видел и слышал ночью в своей церкви. Разговоры о них шли тогда в народе упорно, а лично я о них слышал в нашем уездном городе, в Ельце, в базарном трактире, от мещан, пивших там чай. Рассказ мой, повторяю, был в некоторых частностях далек от совершенства (и, как я уже сказал, не совсем по моей вине). Однако, вот что писал о нем Чехов в письме к Амфитеатрову 13 апреля 1904 года незадолго до своего рокового отъезда за границу:

«Пишу я теперь мало, читаю много. Сегодня читал «Сборник» изд. «Знания», между прочим горьковского «Человека», очень напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего на о, прочел там и великолепный рассказ Бунина. Это в самом деле превосходный рассказ, есть места просто на удивление, и я рекомендую его Вашему вниманию».

Я узнал об этом отзыве Чехова совсем недавно — из собрания Чеховских сочинений и писем, вышедшего в Москве тоже сравнительно недавно. Узнал, конечно, с большою радостью.

Париж, 1953 год

Ив. Бунин

Борис Филиппов

Два рассказа
Из книги «Кресты и перекрестки»

Монастырь

Он стоял близ южного губернского города, этот монастырь. А губерния была богатая, пшеничная, удобная.

И небо было хорошо подпеченное, горячее, рыхлое, сонное.

И жизнь катилась тихо, сонно, сытно и медлительно, как степная полноводная река.

По вечерам над монастырем висел то задумчивый и меланхоличный, то радостный малиновый звон, и черные моложавые матушки-монахини, перебирая четки, семенили из прохладных, пахнущих мятой и чебрецом келий — на долгую монастырскую всенощную. А за ними следовали гибкостанные послушницы, опоясанные туго-туго кожаными поясами, в черных платках, из-под которых у иной — вопреки всяким уставам — выпрастывалась прядь вьющихся ржаных или черных волос.

Жизнь была благостной и однотонной, и лишь искусные рукоделья помогали матушкам коротать длинные промежутки между службами.

А уж какие были в монастыре мастерицы! Тканые и вышитые гладью иконы, платы, плащаницы; портреты Императора Николая Второго — также вышитые или тканые — большие, в салфетку величиной, — и совсем маленькие, меньше носового

платка. Чудесные скатерти, салфетки, полотенца, пояса, четки. И прославленные на весь край наборные шкатулки, резные кипарисные иконки и распятия.

А какие квасы варились в монастыре! Хлебные — сладкие и кислые, — терновые, яблочные, грушевые, ягодные, персиковые... Нигде не умели так мочить яблоки, солить огурцы, арбузы и мариновать и сушить грибы. Нигде не варили так варенья, не мариновали рыбы.

Горожане и богатые крестьяне, казаки и иногородние — все любили погостить в монастыре у знакомых монахинь: привезти им в дар мучки и маслица, мака и фруктов: поговорить в монастырском соборе; отдохнуть за немудрой беседой — медленной и важной — матушек; полюбоваться на знакомых послушниц, юных, подбористых и быстрых, — часто односельчанок или своих станичниц.

В монастыре и пели по-особенному. Стройный звонкий девичий хор редко исполнял обиходные напевы. Нет, старо-киевские и печерские, архангелогородские и старо-успенские распевы сменялись распевами афонскими, ладами миксолидийскими и совсем небывальными мелодиями крюкового унисона.

Никаких электрических лампочек в соборе. Ровный свет лампад и колеблющиеся пламенники паникадил, яркие язычки сотен свечей в тяжелых металлических подсвечниках — витых и узорчатых. И блики лампад и свечей на цветистых серебряных и позолоченных окладах икон, жирном золоте иконостаса, аканфах и виноградных листьях и гроздьях резьбы кивотов, кованой медной решетке соли и медальонах царских врат.

Колокола монастырские славились далеко: не случайный подбор колоколов, а древний «звон» — от рассыпчатых серебряных дискантов до глубокой меди великана-баса. И все покрывающая густая октава «заупокойного» колокола, отлитого лет двести тому назад в далеком Валдае...

Над святыми вратами — икона на жести: распятие с предстоящими Божией Матерью и Иоанном-Апостолом — сам монастырь и назывался Иоанно-Мариинским.

А за вратами — монастырские угодья: — поля, выгоны, пастбища. Их было немало, этих монастырских земель, но кого это

могло обидеть в губернии, где крепкий мужик подымал по пяти-сот десятин? Поля обрабатывались самими монахинями и послушницами, ими обслуживались и стада, и пчельник, и молочный двор, и монастырский лес. И лишь на самую грубую, тяжелую, непосильную для женщин работу нанимались пришлые мужики — рязанцы, орловцы, костромичи.

Помню я веселый монастырский пчельник и его «начальницу» — багроволикую богатырицу матушку Ангелину, с саженными ручищами и тонким печалующимся голоском обиженного подростка. А сама мать Ангелина была радостная, детски улыбающаяся, и трудно было ей, шестидесятилетней, дать более сорока лет...

И никакие пирожные не могли сравняться с хрустящей горбушкой пахучего монастырского хлеба с сотовым медом монастырского пчельника!

— А меды нынче богатые!.. И все сортовые — липовые, розовые, резедовые, горчишные... — пела мать пчельница. — Любишь, Боря, резедовый медок? Духмяный он, светло-зеленый, что вода в ручье...

А вечером, у матушки-ключаря или матушки Фотинии, регентши монастырского хора, в ее уютной прохладной келейке вкусный чай.

Келья — чистая-чистая (такая чистота бывает только в монастырях), на стенах поучительные лубочные картины и гравюры Гюстава Дорэ — в черных багетовых рамках. В святом углу — иконы, многоцветные лампадки, фарфоровые яички, перламутровые и кипарисные крестики. На столе хрустящая от чистоты вышитая скатерть и вкуснейшие печенья, соленья, моченья, варенья...

И разговор чинный, чуть дремотный, все о темах важных и поучительных, не без легкого добродушного осуждения всегда худшего, нежели вчера, сегодня...

А больше ничего разве не было?

Нет, она была, глубоко-затаенная внутренняя, духовная жизнь монастыря. Были подвижницы, были великие молитвенницы, были праведницы из числа тех, о которых гласит мудрость народная: на семи праведниках и вся-то земля Русская зиждется.

Но для нас, юных и веселых, возвращенных войной и революцией, не существовала тогда эта жизнь.

Мы любили, напившись вкусного чая в келье или в монастырской гостинице, побежать в поле, где одуряюще пахло «бородицной травкой», полынью, мятой, степными цветами. Жидкое золото и рубины закатных облаков, выше — молочные реки в вишнево-кисельных берегах вечеряющего неба; птицы поют, душа поет, а колокола отбивают такт такой радостной «Осанны», что нет ни слов, ни мелодий, ни жестов, чтобы выразить во вне то, что распирает душу, что настоятельно просится вон, требует воплощения...

Покататься по траве, скатиться с пригорка, крикнуть что-то нелепо-счастливое, может быть, ударить кого-либо по плечу, колену, в бок, радостными глазами посмотреть на друга или подружку, захохотать... Да разве опишешь то, что творилось тогда в душе? Эх, юность, глупая, радостная, мудрая юность!

А потом — опять служба, хор; торжественные возгласы диакона о. Власия, нередко путающегося в ектениях — после того, как свергли батюшку-царя и началась свистопляска первых лет революции: невеселая чехарда красных, белых, зеленых и снова красных властей...

И многоречивая проповедь протоиерея о. Иллария, унащенная ссылками на пророков и Апокалипсис.

— Помните, сестры и братья, у великого пророка Иезекииля говорит Господь: «Так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, к которым Я изгоню их ...» И дальше: «вот Я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою в унынии; потому что у них будет недостаток в хлебе и воде; и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем...».

Сморкаются и плачут старые прихожане, жители монастырской слободки. А молодые — послушницы, прихожане и прихожанки, гости — радостными, непонимающими глазами смотрят на паникадило, витые золоченые колонны сени, золото иконостаса, веселые блики свечей на окладах.

Светло на душе, и не хочется думать о том, что голод навигается с устрашающей быстротой, что завтра бесхлебица захлестнет задыхавшийся еще вчера от «изобилия плодов земных» край...

Но и весь почти «мир» уже утратил живую веру. И, кроме сплетен, сгущающихся всегда около обитателей, его в монастырской жизни интересовал, по преимуществу, лишь ежегодный многолюдный цветистый крестный ход с местнотимой иконой «Троеручницы».

...Икона обошла уже улицы города, собор, Армянскую, Лавочную, Варваринскую, Кладбищенскую, Митрофаниевскую церкви, Андреевское подворье, ближайшие сёла. Многолюдная пестрая толпа, все увеличивающаяся и увеличивающаяся по мере приближения иконы к монастырю.

На поле, у Святых врат, — целый городок палаток, стоек, балаганов с пестрядью шелковых и ситцевых платков, лубочными иконами, многоцветными квасами в кривых и стройных, блестящих на солнце стеклянных кувшинах и с вареными грушами на блюдах — приманкой мух и ребят. Ленты, шали, молитвенники, медные и серебряные крестики, пряники; маковники, халва, искусственные цветы, тещины языки, глиняные свистульки, шашлык, семечки, цветные шары, рвущиеся ввысь; баранки и бублики — торговые, розовые, медовые, маковые... И выкрики продавцов пирожков вразнос — старух с корзинами, покрытыми чистой салфеткой, и парней с жестяными ящиками, откуда в тонкой бумажке, немедленно замасливающейся, вынимается большой пяточковый распластанный, весь пропитанный свежим подсолнечным маслом печеный пирожок — с мясом, печенкой, грибами, рисом, яйцами...

Шум, гам, толчае, солнце, горячее южное небо, приподнятое настроение всей этой праздничной толпы:

— А, говорят, на прошлой неделе, как чистили монастырский пруд, опять двух младенцев в тине обнаружили...

— Грех-то всегда в монастырях живет, сатана вокруг стен монастырских путается...

— А, может, врут?

— Вчера матушка Секлетея говорила Марии Павловне: большое горе впереди у всех; еще хуже будет... Столько, говорит, крови впереди, что глаза застит — будущего не видать...

— Ишь, ты...

— Молится она все — денно и ночью молится, — с коленок не встает почти, и все плачет, плачет... Справедливая старушка!

— Армянский марафет! Кос-халва! Орехи в меду!

— Подайте милостыньку слепенькому...

На поле, среди толпы баб и мужиков, сидит слепец и, подыгрывая на нищенской «лире»-кобзе, жалостным дребезжащим голосом поет:

*Любимая моя мати,
Прекрасная пустыня!
Ты прийми меня, пустыня,
Яко мати свое чадо,
Поучи меня, пустыня,
Волю Божию творити,
Приведи меня, пустыня,
Во небесное царство,
И избавь меня, пустыня,
Огня вечные муки...*

— Да, хорошо бы убежать в пустыню... Только везде все равно краснозадые найдут...

— А слышали — не только все земли, но и стадо и пчельник у монастыря отняли.

— Леквизируют...

— А кто с того забогатеет? Разорят только природы!

— Мать Секлетея ономясь говорит моей бабе: «Много, говорит, испытаний Господь на землю нашу пошлет... Терпеть надо со смирением, молиться да каяться...».

— Семечки жареные! Баранки свежие!

— Подайте бывшему студенту. Каб не нужда...

— Вчера взяли новых заложников... Спишут налево, конечно...

— Так-то буржуи...

— Идет, идет Матушка!

Навстречу иконе рванулся ликующий перезвон. Замолкли крики рынка. Толпы горожан и селян, давя друг друга, устремились навстречу Троеручнице, падая на колени и сгибаясь под икону, проносимую дьяконами и священниками над ними. Словно разогнувшаяся спираль, выпрямлялись они позади иконы и присоединялись к процессии, со светлыми лицами и веселой праздничной поступью.

Цветы, солнце, венки, хоругви, звоны-перезвоны колоколов, хоры...

«...Радуйся, Свет неизреченно родившая...».

«...Радуйся, премудрых превосходящая разум...»

— Матушка, помилуй, сохрани!

— Помилуй, прости прегрешения наши!

«...Радуйся, верных озаряющая смыслы».

«...Радуйся, Невесто Невестная...»

— Осени нас покровом Твоим!

— Стена Нерушимая Заступница!

«...Радуйся, земле обетования: радуйся, из нея же течет мед и млеко...»

«...Радуйся, бане, омывающая совесть: радуйся, чаша, черпающая радость...»

...А через неделю, в августе двадцать первого года, в монастырь явилась тройка: потрепанная кожанка с маузером на боку и двойным горбом, засаленная кепка бывшего учителя сельской школы Михайленко и прямые стриженные космы Серафимы Михайловны, старой большевички и председательницы женотдела.

Кожанка, оказавшаяся уполномоченным ЧК товарищем Алферьевым, в сопровождении двух «гавриков» с «винтарями», зацапала отца Илларию и дьякона отца Власия, и через три дня их поседевшие от горя жены получили на Воронцовке в ЧК только их одежду: красавца-батюшку и хилого дьякона «списали в расход»...

А игуменье, когда-то важной, сановитой, властной, — Серафима Михайловна просипела:

— Вот что, гражданка, как тебя там! — чтоб к завтраму духа вашего тута не оставалось!..

— А куда же нам, госпожа-товарищ начальница? — привычно ласковым круглым голосом, но с остеклившимися от ужаса глазами, пропела игуменья: — куда же нам деться прикажешь?

— Куды хошь. Хучь к чортовой матери! Да смотри у меня, вещей, чтоб кроме носильного платья, да там чего на себе унести можете — ни-ни! Тута мы детскую колонию раздрючивать будем...

Целый день бегали монахини и послушницы по монастырской слободке, ища пристанища и работы — какой ни на есть.

А на утро отряды войск ЧК и милицейские оцепили монастырь. Кто из монахинь был помоложе — «сигал» через стену в слободку, заранее перекинув вещи поценнее, — конечно, в местах слабой охраны. А старые монахини гуртом валили через Святые врата, где сосредоточилась почти вся воинская сила, и где матушек бесцеремонно обыскивали, обирали и выпускали в слободку ни с чем. Одна старушка-монахиня припрятала подмышки три золотых монеты, но проходя чрез Святые врата, привычно механическим жестом перекрестилась. Золотые со звоном покатались к ногам милиционера.

— Ишь, вредная, скольки на обмане пота и кровушки нашей попила! — прикрикнул на старуху милиционер. А старуха-монахиня, ошалевшая от страха, отчаяния и безнадежности, так и осталась стоять с бессмысленно раскрытым ртом и заплаканными глазами: потеряны были последние средства существования...

Наутро в монастырь пригнали под конвоем около четырехсот маленьких правонарушителей. На место сорванной иконы над вратами повесили большую вывеску с серпом и молотом и надписью: «Колония-Коммуна исправления дефективных детей имени Максима Горького», и с тех пор монастырь прозвали «максимально-горькой» или просто «горькой коммуной».

Дети, босые, трепаные, оборванные до последней степени, вшивые, — были собраны со всех городов, городков, сел и ста-

ниц некогда «Тихого» Дона, бывшей житницы России — Кубани — и прежде привольного Ставрополя.

Прошли они страшную школу безотцовства, заброшенности, ночевки в сточных колодцах, вагонного и вокзального воровства и младенческой проституции.

Испитые, матершинничающие, все в чесотке и вередах — они были бичом и слободки и города, и окрестных сел и хуторов.

Правда, их держали под усиленным конвоем, — но уследишь ли за такими?

— На ходу подметки режут! — не без известного хвастовства говаривал про них товарищ Пересыпкин, их начальник: — знай, мол, наших!

— Понимаешь? Слимонили они у меня порцыгар серебряный с золотой монограммой «Т. Р.» и короной; стибрили калоши новые и даже второй том «Капитала» Маркса. Уж на чего им Маркс? Вот уж этого не понимаю. Кому он нужен? То есть, из ихой братвы, — поспешил поправиться Пересыпкин.

Но вскоре обнаружилось, что «Капитал» очень и очень пригодился ребятам — он пошел на «колотушки» — самодельные карты.

В соборе, иконы которого пошли на дрова (серебро было, конечно, давно «леквизировано»), — устроили клуб и, частично, склад. День и ночь раздавались в нем звуки гармошки и «блатных» песен, тягучих и жалостных:

*Позабыт, позаброшен
С молодых-юных лет...*

И все-таки это были дети. Испорченные физически и душевно, но ребята. Как обрадовались они, когда случайно забрел к ним бродяга-Петрушка! Играла гармонь, пицал Петрушка, баял капрал, верезжала коза, хлопал руками по полу цыган, а дети визжали от восторга, подскакивали, кричали, хохотали до слез.

— Ишь, сволочь, как закручивает!

— Минька, глянь, какая коза, мать ее!..

— Приходите к нам еще, дяденька! У нас скука...

И даже одарили петрушечника уворованной на кухне пшеничкой и потрепанными штанами воспитателя Арутюнова ...

В городе «интеллигенция» отнеслась к «монастырской» истории в общем равнодушно.

— И дома молиться можно ... Пустые обряды!..

— Толстой не меньше ихнего верил, а в церковь не ходил...

— Устарели все эти монастыри ...

— Вспомните, и во времена великой французской революции произведена была секуляризация церковных имуществ...

— А теперь, по крайней мере, сколько детей воспитается для лучшей жизни...

— Жалко, конечно, старух, но — «лес рубят — щепки летят» ...

— Все это «глупость умственных способностей», как говорил покойный Иван Палыч...

...И лишь старичок-монах, келейник архиерейский, грустно вздохнув, прошептал: «По грехам нашим Господь еще слишком милостив. Обмиршился не только мир, но и скиты. Глас Божий не внемлют»...

— Гром не грянет — мужик не перекрестится... — в тон вздохнул ему архиерей.

...Воспитатели в «Горькой коммуне» зверски голодали. Скучный их паек немедленно расхищался воспитанниками, вечно голодными и прожорливыми, да притом и мастерами «слямзить».

Но и в слободке было уже мало разживы: медленно тянулись самые страшные месяцы голодной зимы двадцать первого — двадцать второго года.

В пишу шло все: падаль, вороны, крысы, может быть, и человечья мертвечинка.

И однажды монастырскую слободку ошарашил слух: «в горькой коммуне — сап»...

А через один-два дня — снова оцепили монастырь чекистские взводы и милиция. И из-за стен послышался частый сухой треск. Было похоже на звук ссыпаемого в пустое ведро гороха. Да слышались взвизги и вой. К полдню все стихло. И только хмурые стрелки возвращались в город. А в монастырь уже еха-

ли подводы с негашеной известью, и под конвоем шли заключенные с лопатами, железными ломками и крюками.

Сияло солнце. Иней белым сахаром облепил все деревья. Перепархивал смеющийся снежок.

Святое Паозерье

Удивительное сходство. Мой возница страшно напоминал — особенно лицом своим — Распутина. Те же редкие прямые космы бороды, гладкие негустые длинные волосы, то же узкое лицо, немного рябоватое, и маленькие умные глаза.

— Н-но, трогай! Ишь, окаянная сила, задержались долго с патрулем испанским около Воробейки, теперь до темноты не доберешься, пожалуй до Желкуна...

Я ехал по поручению городской управы, наспех сколоченной при немцах из немногих оставшихся в Новгороде мало-мальски дельных людей; ехал в Паозерье добывать хлеб и картофель для больниц и остатков городского населения.

Около дотла сгоревшей деревни Воробейки наши дровни остановили испанские солдаты. Двое из них были в разорванных от ворота и до подола немецких шинелях и с винтовками за спинами, висевшими на ремнях штыками вниз. Третий — унтер-офицер, был в валенках — оба на левую ногу: один — рыжий, другой — белый.

Я предъявил удостоверение на двух языках, выданное немецкой и испанской комендатурами. Солдаты взяли его, повертели в руках, передали унтеру, взявшему его вверх ногами и безнадежно махнувшему рукой — все были неграмотны:

— Идем к офицеру.

В двустах шагах, в единственном уцелевшем домишке, в жарко натопленной горнице сидел за столом испанский поручик. Он был полураздет, перед ним стояли несколько бутылок коньяка и водки, сковорода с недоеденной рыбой и крупно нарезанный лук. Чудесный домашний свежий ржаной хлеб и овсяный кисель, почти не тронутый, дополняли пиршество, придавая ему местный колорит. Вся семья хозяина дома — и сам

хозяин с женой, и молоденькие дочери его, и старуха бабка — с раскрасневшимися лицами и мутными глазами сидели за столом. Хозяйский сынишка, парень лет четырнадцати, что есть силы терзал гармонь, а денщик-испанец подыгрывал ему не в тон на гитаре и выл что-то дикое и нечленораздельное. Я предъявил офицеру свой пропуск и свои документы. Он пьяно взглянул на меня и на возницу и сунул нам в руки объемистые кружки с коньяком:

— Пейте! Пейте, вам говорят! На документы он и не взглянул.

— Они ничего, испанцы-то, щедрые. Все солдаты ихние на девках наших попереженились. По-православному. И в церкву нашу ходют. А девкам в подарок и коров и свиней подарили. С соседних деревень грабанули. Хороший народ, подходящий, — объяснял мне заплетающимся языком хозяин дома, помощник волостного старосты.

— Вот только чудные они. В Самокраже стояла артилерия испанская. Пошли они пьянствовать. А советчики через Ильмень по льду перешли, орудия спортили, с соседнего дому двух мужиков прихватили, — и назад к себе. Немцы больно на испанцев обижаются...

Дровни весело поскрипывают на синеватом плотном январском снежку. Мимо нас бегут телеграфные столбы, редкие избы частых полусожженных деревень, деревья.

— Ты, Петрович, на одного, человека здорово похож...

— На Распутина, что ли? Говорят все, схож ... Меня так и прозвали — «Распутин».

— Что это за усадьба, Петрович?

— Энто? А так... Барыня тут чудная жила одна ... А потом клуб здесь изделали...

Деревянный двухэтажный дом с резко очерченными ризоли-том. Четыре дорических колонны. Атик. Боковые одноэтажные флигеля. Дом, очевидно, начала прошлого века.

— Энто, Андреич, антиресная была барыня. Вроде помещанная. Я был еще мальчонком тогда. Ходил к ей в школу. Она уже и отца моего обучала. Говорила: не хочу даровой хлеб есть! В учительши пошла, школу обосновала. И сама и

учила. Не хотелось, должно жалованье учительское в чужие руки упускать, — криво усмехнулся рассказчик.

— Учила она уже лет с тридцать, как тут революция приключилась.

Они ведь давно уже за беднели, только почти что и оставалось, что дом этот с садом. Замуж не пошла, все народ учила... Жила не так, чтобы очень богато — ходила всегда в черном простом платье. Племянники с ей жили — младшей покойной сестры ейной. Одному — Васютке — шел тогда четырнадцатый годок, а Ванюше всего восемь али девять лет было. И все, бывало, когда не в школе, возилась старая барышня наша с племяшами своими.

Окромя школы, ходили и в дом к ей ребята наши. Книжки брали, читала она им, рассказывала побасенки всякие, стишкам учила... Смехи! Не в своем уме, должно, была барынька... Лет уже за пятьдесят, у самой дом двухэтажный, а она побасенками с ребятами занималась... Впрочем, бары они обнаковенно другие были, чем наш брат... Известно, буржазия, помещики и капиталисты...

Ну, тут как революция изделалась, барынька наша и в ус не дует: — «Мне, говорит, бояться нечего... Мы с народом заодно!» — Заодно! — усмехнулся возница. — Как бы не так — заодно! А у самой в усадьбе кровати с никелированными шишками и струмент побольше поповской фицгармони...

Пошли наши ее усадьбу грабить. Все в ей, в усадьбе-то, мужикам знакомо — что где: все в ей бывали, учились сами у барышни, и ребята наши в ей обучались... Каждый предмет знают — не запрычешь от народу. А впереди шел главный заводила — Сенька-горбун, сын волостного писаря — лучший ученик барышнин.

Увидела его барышня — и руками всплеснула:

— Сеня, — кричит, — Сенечка! И ты с ними!

А горбун увидел племяшей ейных, озверел совсем, кричит: «Бей буржуев и помещиков! Кровь нашу пили!», — да и бросился на Васютку.

Васютка стоит бледный, трясется весь, бежать хотел, да ноги не слушаются, а шейка у его, как у цыплака, — тонень-

кая и вся побелелая. Вцепился ему горбун пальцами в горло, да и проткнул горло со злости наскрозь. И смех и грех! Так у Васютки и глаза не закрылись — выпучились только, да язык высунулся...

Тут мужики наши пожалели Ванюшку — чтоб и он горбуну не достался — порешили его обушком топора...

А барышню сгреб бывший ейный кучер, да и сунул ее в кузов тарантаса — и по лошадям! Повез было в город, укрыть от народа, — да на полдороге выставил ее с тарантаса и говорит:

— Текай, барыня, сама в город, а я назад завестаю: как бы меня при дележе усадьбы не обидели...

И то сказать, пострадал он за доброе дело: как вернулся назад, ему только и остались, что две картинки уже без рам и пол трюма: половину горбун со злости разбил...

А барышня, рассказывал кучер, даже не плакала. Говорю вам, чудная была: только ни кровинки в лице, а сама лопочет незнай-что:

— Сама, — лопочет, — сама виновата: это я их обучила... Это — школа моя... Школа...

Смехи!

Пошла она после того по монастырям. Сухонькая, прямая, из-под черного ветхого платочка волосики редкие седые видны. А губы все шевелятся — лопочет чтой-то про себя, не то молится. А глаза — смотреть в их страшно: так вас наскрозь и проходят...

Забрела она — уже года через два-три — и в наш Клопский монастырь... Еще не был тогда закрыт он. Стоит в соборе, молится: — «Господи, — шепчет, — прости мне школу мою»... Было энто под Рождество. Много нашего народа пошло тогда к Михаиле Клопскому на Всенощную. Пошел и я. Стою у столба, а у другого стоит, гляжу, горбун-Сенька, и стоит всю службу на коленях и с барышни глаз не сводит.

Смехи! Ну, думаю, влюбился наш горбун в старуху... А у самого Сеньки рожа, как картошка, в золе печеная, а глаза, как угли. И рот пересох.

Молится он, ох, как молится! Видно — нет человеку покоя. И какой ему покой — был после и в продотрядах и в Чеке, всюду работал: много на ем мужицкой родной крови!

Смотрит он на барышню — прямо, думаю, спину ей прожжет, так смотрит. Гляжу — и она обернулась. Обернулась, покачнулась, — и тихо с церкви вышла. А за ей горбун.

Вышел и я за ими. Гляжу — стоит барышня — бледная-бледная, бледнее снега рождественского, и мелкой дрожью исходит. А горбун тоже трясется, слова сказать не может. Наконец, прохрипел:

— Прости! — и в ноги к ей повалился.

А барышня тоже ничего сказать не может, только колотит ее еще больше.

— Прости, — хрипит горбун, — прости, Христа ради. Видишь, весь усох я, покоя себе не найду.

Ничего не сказала старая барышня, видно язык отнялся. Руки дрожат часто-часто. Но положила она руку на голову Сеньки. Дрожит рука ее, а с под ее у горбуна слезы ручьем текут.

А из Храма несется: «Христос рождается — славите!».

И смех, и грех!

— Ну, ладно... Чего уж тут рассказывать? Скоро и померла барышня. Шла к Николе Столбенскому, а по дороге занемогла. Зашла в одну избу, испила водицы, да и дух вон...

Да... А я тогда в усадьбу опоздал. Только и осталось мне одно дерьмо: книжки немецкие что ли — не по-нашему написаны, — да сломанное кресло. Одна книжка у меня доселе хранится. Вот уж покажу...

Э, да мы до моего дому доехали! Зайдем, Андреич, ушицы похлебаем да погреемся, а там и дале в путь...

— А где ж твоя книжица немецкая, Петрович? — спросил я возницу, согревшись и похлебав уши.

— Книжица? А хоть, так бери ее себе... Мне ни к чему...

И он сунул мне в руки великолепный экземпляр XVIII века «Орлеанской Девственницы» Вольтера. Тонкие, непристойные гравюры, изящный шрифт, прекрасные заставки и концовки...

А в середине книжки оказались заложёнными листики прожелтевшей почтовой бумаги:

«Милая моя, дорогая!

Твой поцелуй прожжёг мою душу... Скоро, скоро ли увижу тебя снова?..».

Ну, обычное любовное письмо! Но в конце:

«... Посылаю тебе «Подражание Христу» Фомы Кемпийского и новый номер «Колокола», полученный мною из Лондона...».

А среди листиков письма — засушенная веточка ландыша...

— Пора, Андреич, в дорогу! Едем, что ли!

И мы опять на дровнях. Дорога вьётся — однообразная и унылая, а возница рассказывает мне:

— В Курицко испанский комендант запретил солдатам с девками гулять... Ну, да рази испанцы послушают кого? Поймали девок и баб с солдатами на гулянке в клубе. Девкам голову наголо сбрили, бабам полголовы выстригли, а солдат выпороли... Смех и грех!

А я видел перед собой высокую худую старую девушку, тихими легковейными стопами обходящую святые места родной Новгородчины и всей нашей Руси. И горбуна, прощенного ею за боль, непомерную муку душевную его.

— А вот и Святое Паозерьё! Глянь! Уже к Клопскому монастырю подъезжаем! Послезавтра Рожество Христово, Андреич!

Стемнело. На небе зажигались первые звезды.

21.12.1947

Ольга Бубнова

Счастье

По колено намело сугробов, нет больше сил идти по ним навстречу бешеным порывам ветра, и все-таки еще шаг вперед. Еще немного... Два километра полем, а там мостик через занесенный снегом овраг, за ним — поселок: несколько затонувших в снегу изб, приятный горьковатый запах кизячного дыма. Тепло и люди...

Нащупываю за пазухой драгоценную ношу, плотно набитый мешочек — три килограмма белой, сухой, чистой соли. На минуту забываю об усталости и улыбаюсь: дома ждут. В жаркой печи стоит чугунок с очищенной подрумяненной картошкой; прилаженная к стене лампа с разбитым стеклом тускло освещает маленькую избу с громадной облупленной дышащей теплом печью. С печи доносится размеренное пощелкивание семечек.

На лавке мать. Ей тепло и уютно, только сердце ноет: как-то доберется дочь в такую метель — воет, гудит, свищет под окном, зги не видно.

Тут же, за столом, хозяйка зашивает толстой иглой прорежи на чиненой — перечиненой, засаленной стеганке. Ждут меня.

Еще шаг, и еще... Сквозь сугробы, через метель, скорее к людям, к тем, кто меня ждет...

Доносится лай собаки, а вместе с ним и запах кизячного дыма. Снова нащупываю за пазухой соль и улыбаюсь — целых три килограмма...

Вот и мост.

Все именно так, как я представляла себе: и мать, и хозяйка со стеганкой в руках...

— Ну вот и Леночка наша, а тут бабушка истосковалась вся, — говорит Фрося и громыкает заслонкой.

Вскоре прямо на столе — нет ни тарелок, ни миски — появляется розовая, душистая, горячая картошка ... Торжественно достаю из-за спины мешочек с солью...

После обеда Фрося снова принимается за стеганку, успокоенная мать достает варежку: она вяжет ее для сына Фроси из старого носка.

— Слышала, Лена, агроном-то помер, — рассказывает Фрося. — Пришел полицай, сволок его с печи и потянул в управу, а у него изнутри кровь горлом. Вот и помер.

Хозяйка не раз рассказывала мне об этом агрономе, больном туберкулезом; его заставляли вместе с другими выходить на расчистку дороги. Никогда не видела я этого человека, но страшно слышать о его смерти и еще страшнее — о жестокости людей.

Думаю об этом и смотрю на Фросю. У нее широкое, плоское, словно раскатанное скалкой лицо, крупный приплюснутый нос (она говорит, что это щеки растянули его в разные стороны), большие голубые глаза с похожими на ржаные усики ресницами. Плотные плечи обтягивает неизменная свекольного цвета майка, на голове выцветший голубой платок, завязанный концами назад, из-под него выбиваются светло-русые волосы.

Закончив рассказывать об агрономе, Фрося начинает спрашивать меня о новостях:

— Приемник нынче слушала?

— Не удалось.

Послушать приемник — дело не простое. Он стоит у немецкого офицера, который, уходя, обычно запирает кабинет. Только в редких случаях он забывает сделать это, тогда мы, оставив кого-нибудь на карауле, ловим передачи Советского информбюро.

— Народ толкует, — сообщает Фрося, — наши под Курском прорвались. Может, своих скоро увидим.

Она начинает вспоминать о муже, а я теперь думаю о ней и о том, как столкнула нас судьба.

Уже роняла листья вторая военная осень, по утрам морозцем покрывало сникшую траву, а нам в этот год даже голову приклонить было негде. Словно птиц из гнезда, разогнали немцы горожан по деревням, и почти в каждой избе можно было встретить пришельцев.

В ту пору с утра до вечера работала я на водокачке уборщицей — за буханку хлеба в неделю и котелок варева в день. В перерыв приходила ко мне мать похлепать из котелка жидких шей или густой мамалыги. Целыми днями бродила она в поисках жилища, но больше чем на два дня никто не пускал. А зима стояла на пороге.

Однажды мать пришла какая-то особенно настороженная, смотрела в сторону, словно что-то хотела скрыть от меня. Когда высребли последние остатки мамалыги, она вдруг сказала, покачав головой:

— Не знаю, что из этого выйдет, — и добавила, не в силах более сдерживать радостную улыбку, — кажется, я нашла квартиру.

Вечером отправились договариваться с хозяйкой. Жила она в поселке, километрах в пяти от райцентра, в такой маленькой избе, что от печи до стола шагнешь, и уж дальше некуда. У избы ни сарая, ни плетня — за ней чистое поле да овраг на задах. В сенцах-мазанке с земляным полом пахло коровьим навозом. Хозяйка, оголив по локоть руки, мыла на конике чугунок.

— Пришли? — спросила она, вытирая руки и поправляя съехавший на затылок платок. — Пожитки где?

И вдруг рассмеялась, заливаясь краской:

— И чего спрашиваю, словно подъемные подавали. Небось, все тут?

— Чемодан есть.

— Ну и неси, — повела она головой в мою сторону, — а бабушка пусть на печь лезет погреться.

— Договориться надо... — начала было я, но хозяйка махнула рукой:

— Чего договариваться? Обижены не будете. Хата тесна, да уж это какая есть. Моя-то со всеми пожитками сгорела, как немцы входили.

Хозяйка погрустнела, но опять засмеялась весело и ободряюще:

— Картох да кизяка на всю зиму хватит — вот вам и весь договор.

— А сколько... — Мне было почему-то неловко говорить с этой женщиной о цене.

— Что сколько? — нахмурилась она. — Рубаху мне, что ли, с тебя последнюю снять? Так, может, ее у тебя и нету, рубахито. Тебя как зовут?

— Лена.

— Меня Фросей. Вот и договорились, значит. Ступай за пожитками.

Она слегка подтолкнула меня к двери.

Так и зажили мы с Фросей. Было тяжело, но небезрадостно. Когда на горизонте начинало светать, я отправлялась на работу. Теперь уже мать не ходила ко мне по холоду поесть мамалыги: дома была сыта. Картофель и молоко — что еще нужно было в те годы человеку? Конечно, хлеб... Буханки, которую я приносила, на неделю нам не хватало, и когда тоска о хлебе становилась особенно тяжелой, Фрося брала гитару. Склонив голову набок, словно прислушиваясь к звуку струн, она быстро сновала по ним большими закругившими пальцами. Начинала всегда со старинной песни о золотых днях и непроглядной любви:

*Начинаются дни золотые
Воровской непроглядной любви.*

Свесив голову с печи, пятилетний белобрысый сын хозяйки Колька подхватывал чудным басом:

*Ах, вы, кони мои вороные,
Вороные вы кони мои...*

Голос у Фроси был грудной, низкий, приятный, и песня мне нравилась: вставали перед глазами снежные просторы, от которых захватывало дыхание, слышались переливы бубенцов. Хотелось подтянуть, но петь я не умела и жаль было портить песню.

— А ну, бабушкину! — смеялась Фрося и, лихо ударив по струнам, закидывала голову:

*Ах, Самара-городок, беспокойная я,
Беспокойная я, успокойте вы меня.*

Она вдруг вскакивала и с гитарой в руках начинала кружиться по комнате, взмахивая руками и пристукивая ногами. Весело смеялся, хлопая ладошками, Колька, разглаживались морщины на лице матери. Иногда заходили на песню соседи, и тогда в избе становилось совсем весело.

Даже старый дед Кирюха частенько прибредал к Фросе и, осуждающе ворча, что вот-де хлеба нет, а она песни затеяла, стряхивая у порога снег с шапки, садился на лавку послушать про вороных коней и непроглядную любовь.

Помню, как-то еще по началу зимы, в сильную пургу, на водокачку пришла вся занесенная снегом Фрося.

— Случилось что? — испугалась я.

Но она улыбнулась, оттирая рукавицей пунцовые щеки:

— Случилось! Пурга-то видала какая? Ты еще заплутаешь в поле, вот я и пришла. Бабушка посягалась, да куда ей.

Три километра сюда да три отсюда по такой дороге в ватнике.

— Ну, Фрося ... — Да разве я могла благодарить ее? Не было таких слов.

Январь выдался жгучий. Как захватили под Новый год морозы, так и не отпускали. Снег искрился на солнце, звенел под ногами, воздух был пронизан колючими иглами, неподвижно стоял над трубами дым.

И вот в такие-то морозы надвинулась на нас беда. Как-то вечером, возясь возле печки, Фрося бросила мимоходом:

— Тесно у нас, друг о дружку толкаемся.

Я взглянула на мать и, поймав на себе ее тревожный взгляд, опустила глаза. Слова хозяйки не предвещали ничего хорошего: так, исподволь, обычно начинают разговор об отказе в квартире.

Вечер прошел, как всегда. Ели подсушенную картошку, грызли снятые с печи теплые подсолнухи, толковали о последних событиях в селе, гадали, что и как там у наших, по ту сторону фронта.

Постепенно то, что сказала Фрося, сглаживалось. Только когда я вышла во двор за снопом, чтобы разостлать его на лавке, где мы спали с матерью, сердце снова тоскливо сжалось. Яркая морозная луна освещала снег, в бесконечную даль уходило погруженное в ночь поле.

Ночью я долго не спала, чувствовала, что и мама не спит рядом со мной. Когда с печи послышался легкий храп Фроси, мать тихонько повернулась ко мне и еле слышно зашептала:

— Как ты думаешь, к чему это она о тесноте?

— Так просто.

— Да нет, тут что-то не так... Неужели откажет?

— Не может быть.

— А ты почему не спишь?

— Легли рано. — Мать вздохнула, и мы тесней подвинулись друг к другу.

На другой день страх снова рассеялся — чего только не сделает дневной свет! Да и мысль-то сама по себе была слишком страшна, слишком угнетала, подсознательно хотелось сбросить ее.

Все шло своим чередом. А через три дня мать встретила меня какой-то насильственной улыбкой. Уловив минутку, когда Фрося вышла, я сейчас же спросила:

— Что-нибудь сказала?

Мать кивнула головой.

— Что?

— Про картошку... маловато, говорит, осталось. И про тесноту снова.

— Но ведь я же ношу хлеб. Ты не волнуйся. У страха глаза велики.

Вошла Фрося и загромыхала ухватом в печи.

— А у нас нынче саламата, — сказала она, — по сусекам гречишную муку наскребла. Бабушка-то не похвасталась тебе?

Саламата с молоком — это предел человеческих желаний, но то, что Фрося сказала о сусеках, опять прозвучало намеком.

Хозяйка принесла молоко, позвала нас к столу. Раскладывая ложки, спросила:

— Ты что, Лена, молчишь? Либо полы нынче мыла? Мазут-то, его дюже трудно отдирать.

— Керосин принесла, под лавку поставила, — сказала я, сознавая, что говорю это для того, чтобы напомнить Фросе о моем вкладе в семью.

— Ладно, ты ешь. Поедим вот, спою. Колюшка, будешь матери подтягивать? — засмеялась она, потрепав сына за вихор.

«Нет, — подумала я, внимательно глядя на Фросю, — не может быть. Влезет же в голову!»

И вдруг заметила, что хозяйка тоже наблюдает за мной. Казалось, мой взгляд смутил ее: она встала, подошла к печи, зачем-то перевесила полотенце и, судорожно вздохнув, снова под села к столу.

Теперь не оставалось сомнений: Фрося мучилась, не так-то просто выгнать людей среди зимы на улицу, сказать язык не поворачивался. Все зависело теперь от того, сможет она или не сможет сказать. Убрав со стола, хозяйка взялась за гитару:

— Ну, что же, Леночка, с твоей начнем?

Она перебрала струны, подтянула их, снова перебрала и запела:

*Ах, вы, кони мои вороные,
Вороные вы кони мои...*

Подпевал с печи Колька,

— Погода меняется, — сказала мать, — ветер.

За окном действительно гудело, значит, потеплеет. Да что толку? Закрутят опять метели. Куда пойдем?

«Нет, это невозможно, — подумала я, — что-то нужно предпринять».

И вот мы снова в поисках угля. После работы я отправлялась бродить из избы в избы. Всюду отказ, отказ и отказ.

— Стоят уже городские, куда нам? — И разводят руками. Сердиться нельзя: люди говорили правду.

— Ты что припоздняешься? — как-то спросила Фрося.

— Задерживают на водокачке.

Матери я тоже не говорила о своих поисках. Последнее время она успокоилась, и снова волновать ее не хотелось.

Тяжело было теперь возвращаться домой. Чужим и страшным казался лай собаки в деревне, неприветливо глядела занесенная снегом изба, дверь скрипела сурово и недовольно.

Все эти дни Фрося суежилась в избе, хотя новых дел не прибавилось. И мать избегала смотреть на меня. Но Фрося была очень ласкова, особенно с матерью.

— Бабушка, ты поешь да на печь иди, как ловко, — то и дело уговаривала она, а сама все норовила отвернуться в сторону.

Смотря на широкую спину Фроси, я с каждым разом все острее и острее чувствовала, что мы чужие для нее, лишние, ненужные. Даже в Колькиных глазах это чудилось.

Мать снова начала волноваться. Я видела это по той особой торопливой услужливости, с какой она обращалась к Фросе. Раньше мы все просто помогали друг другу, теперь было иное. Я знала, что мать унижается ради меня, и чувство протеста и возмущения рождалось в душе.

Уйти бы сейчас, взять чемодан и уйти. Если бы лето...

— Соседские фатеранты машинку на ячмень выменяли, — сказала как-то Фрося, — сала еще взяли и пшена килограммов пять.

Она пошла к двери, привычно поигрывая на ходу плечами, а я почти с ненавистью посмотрела ей вслед.

На другой день вспыхнула надежда: женщина, с которой я работала на водокачке, сказала, что одна из ее знакомых ищет себе квартирантов.

— Жутко одной стало.

После работы пошла по адресу. Хозяйка оказалась седенькой, маленькой старушкой с неведомо какими путями сохранившейся допотопной черной кружевной наколкой. Она жила одна в длинном, вросшем в землю доме. Когда я вошла, старушка сидела в кухне возле печи и подбрасывала в огонь разрубленные ножки стульев.

— Мне бы так, чтобы с топкой, — смущенно сказала она, узнав, с какой целью я пришла, и добавила, словно извинившись:

— А то ведь все равно замерзнем.

Я поспешила выйти.

Ветер, который начал дуть пять дней назад, не нагнал оттепели. Все так же звенели морозы, только еще сильнее стало обжигать лицо. В небе спокойно скользила луна, и ее спокойствие только подчеркивало мое одиночество и беспомощность. Необитаемыми казались угрюмые, погруженные в темноту одноэтажные домики. Только ветер выл тревожно.

Миновала последний дом, и стало совсем жутко: впереди расстилалась передо мною пятикилометровая, лиловая в лунном свете равнина. За домами все-таки было тише; теперь ветер рванул с такой силой, что я с трудом устояла на ногах. В последний раз оглянулась на село и, наклонив голову, чтобы заслонить лицо от ветра, зашагала по равнине.

Поселок, в котором мы жили, раскинулся в ложбине, поэтому поле казалось сплошным и бесконечным. Вдалеке оно сливалось с небом.

О чем гудел ветер? Чудился мне в его свисте и вое какой-то тайный смысл. Не было ни времени, ни пространства, все слилось в этом. Все — и прошлое и настоящее. Так гудел ветер в далекие-далекие времена, когда предки мои кочевали по степным просторам; так будет гудеть он много лет спустя, когда и следы мои исчезнут с земли. Не все ли равно? Умру я, умрет, может быть, возле холодной печи старушка, от которой я сейчас ушла, потому что стыдно было не помочь ей, а помочь нечем. Встать вот так, слушать завывание ветра и смотреть в небо, — ведь оно все-таки красиво, — смотреть до тех пор,

пока не окоченеют члены, тогда упасть — и конец. Вот она — Большая Медведица. И вдруг с резкой отчетливостью, так же четко, как звезды на небе, перед глазами встало детство. Мать держит меня на руках и, прижавшись щекой к моей щеке, показывает на небо: «Смотри, Большая Медведица»...

Мать!..

Запахнув пальто, я чуть не бегом бросилась вперед по звенящему под ногами снегу.

Вот покрытый инеем кустарник — теперь до нашей избы не больше километра. А там? Широкая спина Фроси, ее недомолвки, суетливая предупредительность матери, моя жгучая жалость к ней, бессилие, доводящее до ненависти к себе. И надо всем — тоска о чем-то большом, светлом, утерянном.

Вдруг к вою ветра примешался новый звук, полный ужаса и отчаяния. Огляделась по сторонам, но вокруг все то же — поле и заиндевший кустарник. Но звук становился все отчетливее и отчетливее, и вот возле кустарника на снегу появилось что-то маленькое; качаясь от ветра, оно стало нерешительно приближаться ко мне. Кошка, рыжая, маленькая, почти котенок. Села и молча уставилась на меня большими умоляющими глазами, потом замаякала, стала тереться о ноги. Я ускорила шаг, кошка бежала за мной и долго не отставала, потом мяуканье начало отдаляться. Я не выдержала, оглянулась. Кошка сидела одна среди поля и с мольбой глядела мне вслед...

С силой рванула дверь и вошла в избу. Нет, я не позволю выбросить на улицу ни мать, ни себя, ни этого котенка, который доверчиво мурлычет у меня на груди. Как чужая, не снимая пальто, села на лавку.

— Мама, котенок! — закричал с печи Колька, заметив высушившуюся у меня из-за пазухи рыжую мордочку.

— Котенок? — переспросила Фрося.

Я чувствовала, как испуганно взглянула на меня мать.

«Не надо, пусть никто не боится!»

Подняла глаза на Фросю и увидела, что она идет ко мне какой-то странной, не своей походкой. Я крепче прижала к себе котенка. Хозяйка подняла руку... Что хотела она сделать? И вдруг боль-

шая, выпачканная в сажу рука легла на голову котенка и тихонько начала ее гладить.

— В поле подобрала, — прошептала я.

— Замерз бы...

Фрося вздохнула и, не поднимая головы, сказала, откашливаясь:

— Давно я с тобой поговорить хотела, да все как-то неловко. Вот и бабушка здесь... «Начинается...» — подумала я.

Перед глазами поплыли печь, лавки, Колькино лицо. Крепче схватилась за лавку — не сдамся.

— Тесно у нас...

В избе стало тихо, только ветер стонал за окном.

— Плохо и вам-то... Да ведь и тоже... как быть... Давай вместе потолкуем... Тут вот недалече... Люди в сарае, и есть им нечего, не то, что картохи... Может, потеснимся еще?.. А, Леночка?.. Да ты что?

Отвернувшись к окну, я плакала от счастья.

Владимир Костецкий

Окончание романа

Рассказ

Посвящается В. Д. Самарину

Отца Али, веселого краснощекого батю, рассказчика и хохо-туна, матрос взял пятерней за волосы, почти ласково заглянул в откинутое лицо:

— Что, долгогривый, приехал?.. — и сейчас же выстрелил из нагана ему в затылок.

Алю держали, а она рвалась к отцу и могла иступленно кричать только одно:

— Чуточку... Ну, хоть, чуточку!..

Потом стрелявший матрос, глянув на Алю, сказал:

--- Важная девка!.. Айда, братишки!

И Алю взяли с собой на грузовик. А в доме стало совсем тихо. Только на улице трещал грузовик. Заводили.

Матушка, бывшая курсистка Елена Павловна, врач, в платке на плечах, простоволосая, вышла с черного входа и пошла по снегу, потому что нужно было куда-то идти.

Через неделю Алю видели на улицах, — в платке на плечах, простоволосой и непричесанной в огромных мужских, — на босую ногу, — ботинках. Она бессмысленно улыбалась проходящим мужчинам, мычала, а из слов говорила только:

— Чутьочку... Ну, хоть, чутьочку!..
Потом она исчезла.

Матушка, бродя, только на следующий день подошла к знакомому крыльцу, на которое она поднималась столько лет и у которого на грязном снегу еще остался вчерашний след от автомобильных шин.

На ступеньках крыльца, в луже крови лежал с совсем распоротым животом, с полуоткрытыми, уже застеклевшими глазами, опухший от страданий, — тот же вчерашний матрос.

На вывалившиеся кишки был положен криво оторванный кусок грязной картонки, и на ней, тоже кривыми буквами, тоже криво, — чернильным карандашом было выведено:

«Всем вам так будет!..»

Так, — в последний раз, — матушка Елена Павловна увидела убийцу своего мужа.

Она опять подняла плечи и пошла вниз по Базарной улице, далеко, — туда, где город исходил маленькими редкими домишками, и начинается степь.

Совесь человека, узнавшего обо всем этом, должна несколько успокоиться вестью о распоротом животе, потому что одно из маленьких равновесий в природе оказалось восстановленным: от меча погиб «взявший меч», тот, кто это равновесие нарушил...

Последний отряд матросов и красных курсантов отошел на броневике, усиленно обстреливая вокзал.

Пути были забиты, и все, что видел глаз уходящего жадного воина, было втащено, втиснуто в красные кубики теплушек.

Среди прочих, менее важных находок, — те, кто вокзал заняли, обнаружили вагон с несколькими бидонами спирта.

Высшими начальствами было приказано спирт вылить или сжечь. Средние начальства спирта не вылили, потому что близки были вагоны со снарядами. — Кто-нибудь может бросить спичку или окурочек...

Из пожарных же соображений спирт не сожгли. Словом, Леониду штабс-капитан Малицкий крикнул:

— Беги, Ленька, на третий путь!.. Наши все там!.. Там бидоны нашли!..

Поэтому, когда Леонид входил в свой родной город, — узенькие знакомые улицы и маленькие дома с палисадниками качались перед глазами не только от радости.

По главной улице, мощеной булыжником, мимо разбитых магазинов они шли втроем, причем Леонид объяснял:

— Вон там, за углом, наша гимназия, а напротив — женская... Было жарко от выпитого и еще — потому что радостно же быть победителем в своем родном городе.

Однако окна были почти везде забиты досками. Было совсем пусто. На снегу валялись какие-то совсем для улицы неуместные вещи: продранные кресла, осколки стекла, тряпки, пустые рамы картин и пачки старых газет.

И, вот, когда Леонид отстал и, наклонившись, стал рассматривать кучу изорванного белья, — может быть найдется чистая рубаша... — из-за угла вышла женщина, простоволосая, растрепанная, в огромных тяжелых мужских ботинках. Она обняла его, наклонившегося, и прижалась к нему, дыша над ухом.

— Аля!.. — вздрогнув, глядя в ее зрачки, страшно закричал Леонид. Но Алины зрачки оставались, как и раньше, далекими, неподвижными и безучастными. Она еще крепче его обняла и, еще крепче прижавшись грудью, стала продельвать неприличные движения, от которых у Леонида кровь хлынула к вискам.

— Алечка!.. Что с вами?.. Как вы одеты?.. — тем же страшным голосом заорал Леонид, стараясь сбросить остатки пьяности и распутаться: в чем же дело?

Губы Али забормотали что-то невнятное, а потом она сказала:

— Чутьочку... Ну, хоть, чутьочку!.. — и, не отпуская дрожащего Леонида, потащила его в тот же проход, из которого вышла.

Проход, — сквозные ворота в каменном доме, — был завален остатками темной полусгнившей соломы. Наклонившись на бок, стояла брошенная двуколка с разбитым колесом.

И, вот, — тут, — на слежавшейся гнилой соломе, на покрившейся неустойчивой двуколке полупьяный Леонид получил то, о чем, очень в глубине, мучительно сладко и грешно он мечтал эти два года — любимую золотую стройную гимназистку Алю, дочь отца Василия.

Аля крепко его обнимала, задышалась, но когда Леонид сумел что-то понять — он увидел, что ее зрачки, — как и раньше, — безучастны и неподвижны.

Мучительный страх овладел им.

— Алечка, родная, что с тобою?..

Он начал сознавать: что-то не так, что-то случилось и — что-то ужасное, непоправимое сделал он сам.

Алины губы забормотали быстро, неразборчиво, а, потом, — совсем ясно:

— Чутьочку... Ну, хоть, чутьочку!..

Вдруг она со звериной ненавистью взглянула на него, изо всей силы толкнула в грудь, вскочила и убежала. А он, задыхающийся, встал и, опершись на винтовку, безуспешно пытался разобраться во всем, что случилось.

Когда, — через годы, — будут писать историю, никто не вспомнит об Але, о Леониде, матушке Елене Павловне, об отце Василии и — о затерявшем свое имя матросе. Все знают, что революция и вытекающее из нее будущее счастье народов строятся на человеческих костях.

...Это — я, смиренный инок, обученный книжному искусству и прописному ремеслу, записал все во славу Творца, Создателя Вселенной и всех дел ее.

А еще, записал, чтобы знали, что надо искромсать много горячего человеческого мяса, чтобы добраться до этих самых строительных костей...

ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННОКОВ

Лидия Арсеньева

О Куприне

После отъезда в СССР и смерти Александра Ивановича Куприна в зарубежной литературе появилось о нем несколько статей. Все они обрисовывали писателя хотя и с разных точек зрения, но не противоречили одна другой, и только лишь статья В. Унковского в журнале «Грани» (№ 21) говорит не о человеке-Куприне, а о больном старике-алкоголике.

Индивидуальность человека — всегда глубинна. «Приступишь к человеку и сердце глубоко», говорил Преподобный Серафим Саровский, а у такого крупного человека и большого писателя как Куприн его «я» выразалось особенно сильно и глубоко. Болезнь меняет человека, затемняет, ступшевыивает его индивидуальность, но совершенно изменить ее болезнь едва ли может, если это не паралич, не безумие, разрушающие мозг больного.

Я не оспариваю и не могу оспаривать статью В. Унковского, но читаю эту статью — больно, больно за Куприна. И я буду писать о другом Куприне, — таком же истинном, таком же реальном, писать и надеяться, что в памяти читателя останется образ Куприна, которого я знала, а не больного несчастного старика.

Я хорошо знала Куприна, но и я, как все другие, могу писать о нем только с личной точки зрения. Я не видела Куприна в год его возвращения в Россию, так как жила в это время в

Шотландии. Но я видела его веселым, энергичным и слабым, больным (в 1935 году), слепнувшим, по временам даже теряющим память, но никогда не терявшим своего Купринского «я», своего «неумного татарского нрава», — выражаясь его собственными словами. Куприн неизменно ссылаясь на этот «неумный татарский нрав», как на исчерпывающее объяснение своих поступков, когда ему случалось рассердиться, выйти из себя, хотя бы и по справедливому гневу, или просто вспылить. (И в «Юнкерах» Куприн говорит о своем татарском нраве.)

Как-то раз при мне жена Куприна — Елизавета Маврикиевна сухо сказала: «Этот татарский характер — просто предлог. Надо уметь сдерживаться». Куприн не ответил сразу, а серьезно подумал и сказал: «Нет, это не предлог. Мне приходится сделать во много раз большее усилие, чем многим другим, включая и мою жену, чтобы сдержаться».

Я думаю, что Куприн был прав: его чувство, душевная реакция шли быстрее контроля сухого рассудка. Но при этом Куприн никогда бы не обидел человека слабее его, душевное движение жалости было в нем сильнее раздражения, гнева или справедливого желания наказать. Когда Куприн действительно хотел, то умел сдерживаться.

Он месяцами гостил у нас в имении, в Нормандии, и никогда ничего не пил в это время. Каждый знает, как трудно привыкшему к вину человеку, хотя бы и временно, но совершенно отказаться от своей многолетней привычки. А у Куприна было достаточно силы воли и выдержки не прикасаться в нашем доме к вину. Елизавета Маврикиевна это знала и, охотно соглашаясь на разлуку с мужем, сама уговаривала его поехать к нам отдохнуть. (Елизавета Маврикиевна была связана своей работой в библиотеке и не могла уехать из Парижа вместе с Куприным.) Особенно Куприн воздерживался пить в присутствии моей матери и относился к ней с какой-то милой, чуть старомодной дружбой.

Как-то раз на русском балу в отеле Лютеция Куприн много выпил и, входя в зал, что-то громко, возбужденно говорил, размахивал руками, а за ним смущенно шли два молодых писателя, видимо, стараясь успокоить его.

Мы, то есть моя мать, муж, двое друзей и я, сидели за столиком и ужинали. Увидев нас, Куприн остановился, точно в нерешительности, а затем направился к нам. Отец нахмурился, боясь какой-нибудь бестактности, но Александр Иванович подошел, поздоровался и, садясь за стол, сказал своим обычным тихим голосом: «А я не знал, что вы здесь. Терпеть не могу балов. Как вышел из юнкерского училища, так и перестал их любить. Не знаю, что с собой делать на этих балах, и слоняюсь, как неприкаянный, от буфета к буфету».

Меня вскоре пригласили на танец, а когда я вернулась к столу, то застала такой странный для бала, такой несоответствующий общему шуму и веселью разговор, что, приехав домой, тщательно записала его. Под завыванье саксофона и негритянский ритм джаза Куприн говорил тихо, серьезно... о мудрой старости:

— Радоваться в молодости легко, радуется ощущение бытия, радуется крепкость, ловкость тела, радуют влюбленности, радуют надежды на будущее, которое мы всегда представляем почему-то лучше настоящего, а вот сохранить радость на закате жизни — нелегко, совсем нелегко. Надо научиться радоваться чужой радости, чужой жизни и тому внешне бедному, что теперь может дать жизнь. И я как особой милости прошу у Бога дать мне эту радость. А вот вы, — обратился он к моей маме, — всегда сохраните эту радость. Вы не отходите от жизни, а воспринимаете ее спокойно и мирно, хотите мира всего мира и, не цепляясь за молодость, мудро и радостно ждете заката жизни, как тихого вечера после жаркого, знойного, хлопотливого дня. Куприн задумался и совсем тихо добавил:

— Да, жизнь мудра, и надо подчиняться ее законам. И жизнь прекрасна, в ней вечное воскресенье... Все связано, все сцеплено. Надо любить жизнь, но надо и покоряться ей.

Эти слова Куприна в то время, по моей молодости, почти стихотворения в прозе, были для меня только прекрасными словами большого писателя и милого мне человека. И только теперь, когда и мне, в свою очередь, надо подумать о старости, я понимаю всю мудрую философию и доброту этих слов.

В Куприне было много доброты и ребячества. Он, например, очень не любил одного писателя — Р., гостившего у нас летом одновременно с ним, но ни разу не обидел его, добродушно говоря: «Конечно я злюсь, когда ко мне пристают, но обидеть Р. нельзя — он человек больной и неудачливый». Писатель Р. почему-то считал нужным подчеркивать свое «скромное почтение» к Александру Ивановичу и раздражал этим Куприна ежедневно. Куприн отмалчивался, но в отсутствие Р. отлично передразнивал его голос, слова и, потирая руки, говорил якобы «проникновенным» голосом фразу Р.: — «Я человек иерархический, я свое место знаю».

И вот, как-то раз Куприн гулял по парку, что-то тихо напевая. Я сидела в доме, возле окна, с книгой, и Куприн меня не видел. Пришел этот «человек иерархический» и долго, нудно, почтительно расспрашивал Куприна о долге писателя перед публикой, о чувстве писателя во время творчества и так далее. Куприн отвечал односложно, коротко, но вежливо. Когда Р. наконец ушел, Куприн остановился, отдуваясь, и до меня долетели тихо, но очень выразительно сказанные слова: «Пошел бы ты лучше, милый мой, к чертовой бабушке!» Я не выдержала и рассмеялась. Куприн поднял голову, увидел меня и сказал:

— Ага! услышали. А это ведь не для дамских ушей... — И смеясь добавил:

— А как вы думаете, я ведь все-таки характер выдержал и был вежлив и молчалив, как каменный идол.

В это лето Куприн писал «Юнкера». С утра он уходил в гостиную и за небольшим овальным столом работал все утро. Мы хотели переменить этот стол на большой письменный, но Куприн запротестовал, уверяя, что для него ничего не нужно менять, что ему и так удобно.

Всегда и во всем, даже в таких мелочах, Куприн был исключительно легким, приятным, непритворным гостем. Обычно с ним приезжал ныне покойный писатель Лазаревский, его верный друг и «страж», как говорил Куприн. Елизавета Маврикиевна не скрывала, что она спокойнее за мужа, когда с ним Лазаревский, которому она давала десятки поручений — когда и

какое лекарство должен выпить Куприн, какое пальто надеть и прочее. Но Куприн все делал сам, никогда никого не беспокоил, и Лазаревский сокрушался, что он «ничем не полезен Александру Ивановичу и только небо коптит».

В это лето Татьяна Сухотина-Толстая и я обычно играли в теннис по утрам, несмотря на солнце и жару. И вот прибегу на минутку с теннисной площадки спросить Куприна, не хочет ли он чашку кофе, и только войду в гостиную, сразу исчезнет азарт теннисного сражения, исчезнут житейские мелочи, точно попадаешь в другой мир.

В прохладной комнате с зеленоватым светом от деревьев парка за большими окнами, сидит, согнувшись у стола, маленький, седеющий человек и быстро пишет своими крупными каракулями. И полная тишина, какая-то особенная тишина в комнате...

Куприн никогда не читал нам написанного, но иногда говорил о своей «будущей книге» (его слова). «Юнкера» были ему дороги. Юнкер Александров то есть сам Куприн в молодости доставлял Куприну-писателю много забот. Юнкер Александров был хорошим, но непокладистым мальчиком (опять неумный татарский нрав!), и Куприну было трудно и не похвалить свой прототип и в то же время дать точный образ этого честного, доброго, прямого и типичного для своего училища юнкера.

Куприн писал «Юнкера» с любовью, тщательно останавливаясь на деталях уклада жизни, например: на описании выхода юнкера в отпуск, осмотра его одежды, полонеза на балу в институте, уроков учителей, «Звериады», экзаменов, слов присяги.

— Я хотел бы, — сказал мне Куприн, — чтобы прошлое, которое ушло навсегда, наши училища, наши юнкера, наша жизнь, обычаи, традиции остались хотя бы на бумаге и не исчезли не только из мира, но даже из памяти людей. «Юнкера» — это мое завещание русской молодежи.

В это время нельзя было допустить и мысли о возможности возвращения Куприна в советскую Россию. Но как-то вечером на террасе сидели М. А. Маклакова, ныне покойный Н. Чебышев, Лазаревский, Роцин, моя семья и говорили об отъезде Алек-

сея Толстого в СССР. И Куприн тогда сказал: «Уехать, как Толстой, чтобы получать «крестишки иль местечки» — это позор, но если бы я знал, что умираю, что непременно и скоро умру, то и я уехал бы на родину, чтобы лежать в родной земле».

Это желанье Куприна полностью сбылось.

Было бы ошибкой думать, что Куприн проводил у нас свой летний отдых только в работе и «серьезных разговорах». Если не считать часов напряженной утренней работы и нескольких действительно серьезных разговоров, в остальное время Куприн был веселым собеседником с большим чувством юмора. Однажды я пожаловалась ему, что не запоминаю чисел, дат, номеров телефона.

— А мой номер телефона вы помните? — спросил Куприн.

— Нет, к сожалению, не помню, — ответила я.

— Ну, тогда я вам помогу и вы никогда его не забудете, — улыбаясь сказал Куприн. — Вот послушайте: по бокам два старика, а в середине восемнадцатилетняя девушка.

— Что это? Армянская загадка?

— Нет, это мой телефон, — смеясь, ответил Куприн. — Ноль восемнадцать ноль.

И он был прав: после стольких лет, я не забыла этого номера.

Куприн обладал удивительной способностью как-то по-детски радоваться, и эта черта его характера очень трогала, в ней сказывалась чистота сердца и непосредственность. Впрочем, кто, кроме Куприна, смог бы написать его страшную, грязную «Яму» и суметь подойти к этой «Яме» с глубокой душевной чистотой?..

Куприн не выносил парадных выездов, приемов и очень любил простые незамысловатые развлечения: любил ходить в цирк, любил ходить с нами собирать грибы в соседнем сосновом лесу, и собирал их с увлечением, с истинно-спортивным азартом, стараясь собрать больше чем другие.

По вечерам мы часто играли в «шарады», и у Куприна оказались поразительные актерские способности. Никогда не забуду Куприна, обучающего нас изобразить (без грима) богиню Кали,

придуманную им самим: — «Калиостро». А финал шарады — ея «целое», то есть Калиостро, Куприн играл сам и действительно создал образ хитрого, лукавого мага-чародея.

Сейчас предо мной стоит фотография. На ней Куприн похож на умного, спокойного татарина, Сургучев стоит, как русский боярин, рядом стою я и Лазаревский, с его усталым лицом и морщинами («складками добродушного сенбернара», по выражению Куприна). Все мы с ружьями. Мы только что стреляли в цель и Куприн командовал: «Шагом марш»... «На-а пле-чо!», а для украинца Лазаревского — отдельная шути-вая команда: «Железяку на пузяку — гоп!» И мы довольно «отчетливо» (юнкерское выражение Куприна) и с удовольствием исполняли команду.

Помню, как хохотал Куприн и, утирая слезы смеха, просил Лазаревского «утихомириться», когда Лазаревский совершенно точно изображал полуночный крик петуха. Но Лазаревский кричал не в двенадцать часов ночи, когда петухам полагается возвещать полночь, а вечером, или когда ему вздумается, и все окрестные петухи начинали орать что есть мочи, нарушая все законы петушиного крика, известные еще с Евангельских времен.

Так же хорошо умел Лазаревский имитировать собачий лай, но, вероятно, в передаче Лазаревского собакам сообщалось что-то пугающее, так как в ответ собаки начинали яростно лаять, визжать и выть.

Обычно Лазаревский начинал свой «лай» вечером, и это не нравилось Куприну. «Не надо дразнить собак, — говорил он. — Зачем их будить? Пусть спят, отсыпаются. Собачья жизнь — часто жизнь трудная, а во сне собака, может быть, видит, что грызет вкусную кость и что у нее не злой, а добрый хозяин».

Куприн любил животных, знал их и умел говорить о них. В его квартире на стене висел портрет Сапсана — огромной собаки-меделяна, рискнувшей своей жизнью, чтобы спасти жизнь маленькой Кисы — дочки Куприна. О «династии» Сапсанов, о его предках, Куприн мог говорить часами и говорил так увлекательно, что однажды Елизавета Маврикиевна, которая знала все подробности и этого рассказа и событий присела «на

минутку» послушать и так заслушалась, что опоздала вовремя открыть свою библиотеку.

Куприн действительно любил и понимал животных, не надеяя их человеческими побуждениями и психологией, а вникал в их мир и сердце. Благодаря дружбе Куприна в дореволюционной России, с цирковыми укротителями, клоунами, он «встречался и был дружен» (его выражение) со львами, слонами, обезьянами, леопардом и с пантерой.

«Дружба с леопардом и пантерой, — говорил Куприн, — научила меня понимать кошачью психологию и относиться к ней с уважением, так как я вижу, какой огромный путь самосовершенствования проделала кошка от ее предков до наших дней, но не потеряла своей индивидуальности».

Исключительное терпение и ласка были у Куприна по отношению к животным. Он всегда старался понять, почему животное капризничает, не слушается, злится. «Эти господа-четвероногие, — говорил Куприн, — никогда и ничего без причин не делают. Надо понять причину, устранить ее, и тогда животное будет вас слушаться».

Такого терпения в отношении к людям у Куприна не было, и хотя, как я писала, он умел сдерживаться, когда хотел, все же бывало, что совершенно неожиданно для собеседника Куприн мог сильно вспылить. Обычно это случалось, когда кто-нибудь, даже невольно, задевал что-либо дорогое сердцу Куприна.

Я помню, как чуть не произошло дуэли из-за «Гранатового браслета». Куприн, Ладинский, мой муж и я возвращались в такси из какого-то загородного ресторана около Парижа. Говорили о литературе. В разговоре Ладинский сказал, что считает «Поединок» лучшим рассказом Куприна.

— «Поединок»? — удивился Куприн, — а по-моему, — «Гранатовый браслет».

Ладинский настаивал на своем мнении. Куприн горячо доказывал, что в «Гранатовом браслете» есть высокие, «драгоценные чувства людей» (выражение Куприна). Слово за слово, и Ладинский сказал, что он не понимает «Гранатовый браслет», так как фабула — «неправдоподобна».

— А что в жизни правдоподобно? — с гневом ответил Куприн. — Только еда, да питье, да все, что примитивно. Все, что не имеет поэзии, не имеет Духа».

На эту фразу Ладинский обиделся, говоря, что в непонимании или в нелюбви к поэзии его упрекнуть нельзя. Спор разгорался и делался все более резким. Перебить этот спор ни мне, ни мужу не удавалось. (Не знаю, что думал толстый француз-шофер такси об этих беспокойных иностранцах, но он все прибавлял и прибавлял скорость.)

В пылу спора Ладинский не замечал того главного, что со стороны и мне и мужу было ясно видно: какое-то дорогое воспоминание, какое-то «драгоценное» чувство было связано у Куприна с «Гранатовым браслетом». Ладинский повторял:

— Я уже сказал, что не могу оспаривать вашего мнения, но я его не разделяю и остаюсь при своем мнении.

И вдруг только что сильно горячившийся Куприн очень тихо сказал, отчеканивая слова:

— «Гранатовый браслет» — быль. Вы можете не понимать, не верить, но я терпеть этого не буду и не могу. Пусть вы čímом постарше меня — это не имеет значения, я вызываю вас на дуэль. Род оружия мне безразличен.

К чести Ладинского я должна сказать, что, понимая разницу лет и любя Куприна, он попробовал успокоить Александра Ивановича.

— Александр Иванович, да что вы?.. Как можно... Ведь я... — но, посмотрев на лицо Куприна, остановился на полуслове и мрачно сказал. — От дуэли порядочные люди не отказываются. Я принимаю ваш вызов.

Наступило тяжелое молчание. Вдруг мой муж открыл стекло, отделявшее нас от шофера и что-то тихо сказал ему. Я догадалась, что муж велел шоферу ехать, как можно дольше, чтобы выиграть время. И действительно такси повернуло на какие-то бесконечные незнакомые улицы. Долго мы старались примирить, успокоить, уговорить, но ничего не добились. Противники упорно молчали. Я с ужасом представляла эту недопустимую, немислимую дуэль и, чуть не плача, сказала Куприну:

— Если вам себя не жаль, жизни не жаль, жены не жаль, то хоть бы вы обо мне подумали. Всю жизнь я буду мучиться, что не сумела остановить этой дуэли.

А муж добавил:

— В истории русской литературы, и совершенно справедливо, будут обвинять нас.

— А если я останусь жив, то из меня сделают второго Дантеса, — пробурчал Ладинский. — И опять наступило молчание.

Свет уличных фонарей упал в автомобиль, и я увидела, что Куприн обводит внимательным взглядом наши печальные, расстроенные лица.

— А ведь это верно, — сказал он своим обычным ласковым голосом, — только вы забываете, что в Дантесы и я могу попасть. Тем более, что вы — поэт, а я только прозаик, — обратился он прямо к Ладинскому и процитировал его стихи на смерть Пушкина:

*Летит свинцовая пчела
Из пистолетного ствола.*

*Оборвано течение строк
И вьется голубой дымок,*

— подхватил Ладинский.

Какое это было облегчение! Мы все сразу заговорили, радуясь, что беда миновала. Шоферу велели ехать к дому Куприна.

Прощаясь около дома, Куприн обратился ко мне и повторил:

— А все-таки «Гранатовый браслет» — быль. Спокойной ночи и не сердитесь на крутой нрав старика.

Какое событие в жизни Куприна создало его «Гранатовый браслет», я так до сих пор и не знаю. Спросить самого Куприна я не решалась, так как понимала, что нечто очень дорогое и личное — «драгоценное» — связано с этим рассказом.

Приблизительно за год до этой, к счастью, не состоявшейся дуэли, был напечатан мой первый рассказ, и вечером, к ужину,

у нас собралось человек двенадцать друзей. Во время ужина Куприн несколькими каплями шампанского окропил мне голову и торжественно сказал:

— Да будет это крещением писателя. Старая Лександра посвящает вас на путь литературы. Рыцарей посвящали мечом, а я вас посвящаю благороднейшим напитком.

Ладинский сейчас же сказал экспромт:

*Лександр Иванович Куприн
Вас посвятил в литературу,
Я ж вам желаю до седин
Служить и Фебу и Амуру.*

— Очень хорошо, — похвалил Куприн, — но, знаете, Феб все же лучше Амура. Амур — существо непостоянное, взмахнет крыльышками и улетит. А Феб, — вернее, он останется и при сединах.

Следует отметить, что Куприн уделял много внимания и времени молодым писателям. Много раз я видела их в доме Куприна, приходивших за советом и указаниями, и Куприн считал своим долгом помогать начинающим,

— Конечно, это отнимает много времени, а я стар и слаб, — говорил Куприн, — и пишу я теперь медленнее, но ведь и Чехов был и занят и болен, а для всех находил время. Все мы у него перебивали.

Но именно потому, что я знала, что и у Куприна многие «перебивали», я не решилась попросить его прочесть этот мой первый рассказ. Со своей обычной ласковой хитрецей Куприн сказал мне:

— Вы что же, загордились? Мне, старику, и прочесть не даете. Принесите-ка мне ваш рассказ. Но чур! Уговор дороже денег — на критику мою не сердиться, не обижаться.

Привожу целиком письмо Куприна. (Подлинник хранится у меня.)

«Дорогая Лидия Викторовна! Простите ради всех Святых: уже давно запоем прочитал я ваш чудесный рассказ «Операция». Мне оставалось только перечитать его, чтобы отметить в памяти наиболее характерные места. Книгу сегодня или завтра

Вам пришло, а с критикой, извините, немного запоздаю. Не хочется писать общих затрепанных дежурных плоских слов, годных для того, чтобы официально отделаться. Но как назло в эти дни меня треплят, как сухую воблу, все, кому не лень и кому не стыдно.

*Ваш друг и слуга
А. Куприн*

«Ваш друг и слуга»! Как это характерно для Куприна с его великодушием доброго человека и скромностью большого русского писателя...

Г. Алексинский

Ее доброй и светлой памяти

В лице Надежды Александровны Тэффи сошла в могилу самая большая русская писательница — не только нашего времени, но и всей русской литературы вообще, с ее истоков. Перелистывая списки женских имен в истории российской словесности, какое имя могли бы мы противопоставить имени Тэффи? Но полное и точное определение места, которое займет она в будущей истории нашей литературы, дело исследователей-специалистов. Наша обязанность сейчас лишь вызвать перед глазами читателей ее облик, только что затянутый траурным флером!...

Когда женщина действительно и по-настоящему умна, она может превосходить умом самого умного мужчину, ибо к обычному уму присоединяет особую — у мужчин очень редкую — интуицию. Это — не инстинкт, не то, что обычно принято называть подсознанием. Это, напротив, не а д сознание или с в е р х сознание. У Тэффи это редкое свойство было развито до степени ясновидения.

После ее смерти одна ее добрая знакомая рассказала мне, как однажды, собираясь в путешествие, она вдруг получила от Тэффи письмо с советом отложить поездку, потому что — писала она — эта поездка грозит несчастьем. Путешествие было все-таки предпринято и... завершилось несчастным случаем.

Я лично тоже могу вызвать в памяти один необычайный факт — настолько необычайный, что, если бы кто-нибудь другой рассказал мне его, я бы, конечно, не поверил.

Было это около тридцати лет тому назад. Я должен был ехать из Парижа в Прагу для чтения публичной лекции. Когда я обратился в германское консульство в Париже за транзитной визой, консул отказал, сообщив, что им получено из Берлина предписание приостановить временно выдачу виз журналистам «союзных» стран. До лекции оставалось два-три дня, и ждать, пока это временное предписание будет отменено, я не мог. Что делать? Вспомнив, что имеется франко-румынская авиационная компания, аэропланы которой поддерживают пассажирское сообщение между Парижем и Стамбулом с остановками в Праге, Белграде и так далее, я решил «перелететь» Германию.

Перелет был довольно утомительный. Летел я на маленьком моноплане Блерио, запертый в крошечной кабинке и весь окруженный какими-то пакетами и посылками. Где-то над Судетскими горами мы влетели в здоровенную грозу. Ветер швырял самолет, как хотел, и молнии разрывались совсем близко. Мой пилот хотел уйти от грозы и отдалился от обычного пути на несколько десятков километров... чтобы влететь в другую грозу, еще более сильную. А над самой Прагой попали в волну густого тумана и должны были долго кружить, пока не спустились на аэродром.

Прочтя лекцию, я должен был сейчас же возвращаться в Париж — опять по воздуху. Несложный багаж был уложен, как вдруг мне принесли телеграмму. Она была из Парижа и в ней говорилось: «Не возвращайтесь дорогой голубою». Подписи не было. У меня появилось ощущение какой-то смутной тревоги, предчувствия несчастья. Почти машинально поехал я в немецкое консульство и попросил дать транзитную визу для проезда из Праги в Париж. В консульстве удивились, что я прибыл из Парижа без визы, и, узнав, что я «перелетел» через Германию, сказали, что это было нарушением правил и что если бы я спустился на землю в Германии, то был бы арестован. Я объяснил, что мне надо было спешить. И в конце концов визу мне дали. Я известил пражское бюро авиационной компании, что мне

не надо оставлять места на самолете, и поехал в Париж по железной дороге через Мюнхен. Прибыв на территорию Франции, первое, что я прочел в купленной на каком-то вокзале газете, было сообщение, что аэроплан, вылетевший накануне из Праги, разбился, пилот и все пассажиры погибли.

Я хотел, конечно, знать, кто мне посылал таинственную телеграмму, удержавшую меня от гибельного полета. Все, кого я спрашивал, отзывались незнанием. Я вспомнил вдруг, что в одном стихотворении Тэффи есть слова: «уйти дорогой голубою». Поехал к ней. Оказалось, что это она послала телеграмму.

— Почему вы ее послали?

— Сама не знаю. Я гуляла. Проходила мимо какого-то почтово-телеграфного бюро. Вошла и, сама не знаю почему, послала телеграмму, вспомнив вдруг название отеля, которое вы дали всем нам, улстая в Прагу.

— Вы спасли меня от смерти. Аэроплан, на котором я летел бы, не приди ваша депеша, потерпел крушение.

— Надеюсь, что вы выхлопчете мне у президента республики или хотя бы у генерала Врангеля медаль за спасение погибавших, — шуточно оказала Тэффи, но вдруг лицо ее стало страшно серьезным, и она спросила задумчиво:

— А скажите по правде, ведь вам неловко думать о том, что кто-то другой погиб, заняв ваше место в аэроплане?

— Да, Надежда Александровна, это правда: мне как-то очень совестно бывает, когда об этом думаю. Но ведь это ваша вина. Зачем было посылать телеграмму?..

— Но ведь так всегда бывает в жизни: когда сделаешь «добро» кому-нибудь, непременно этим сделаешь «зло» другому.

И перейдя снова в свой обычный шуточный тон, добавила: — Буду утешать себя мыслью, что тот, в чьей гибели я так виновата, был очень несчастен в семейной жизни, что у него не было детей, а была только ревнивая и сварливая жена, управлявшая ему существование.

Люди, обладающие даром ясновидения, часто бывают неуравновешенными, иногда даже душевнобольными. У Тэффи ничего этого не было и следа! Напротив, она была человеком вполне здоровой психики. Но это был чрезвычайно развитой и

тонкий духовный организм, какими-то своими сторонами непосредственно соприкасавшийся с миром, который принято называть «ирреальным» и «потусторонним».

Эта гармоническая уравновешенность сказывалась и в характере религиозности Тэффи. Она верила в Бога глубоко, просто, крепко и твердо, истово выполняя обряды, говела, исповедывалась, причащалась, не впадая ни в какую внешнюю экзальтированность, ни в какое «кликушество». Верная дочь с в о е й православной церкви, она была далека от всякой исключительности и нетерпимости. В ее рассказах фигурируют иногда в очень смешном виде евреи, румыны, немцы, французы, но в этой насмешке нет ничего национально-обидного: такая же насмешка, как та, что она обращала в гораздо большем количестве на своих, русских.

В начале лета нынешнего года я сопровождал ее на маленькую прогулку в квартале, где она жила. Уже очень тяжело больная, она выходила очень редко, ненадолго и не отдалялась от дома. На площади Виктора Гюго Надежда Александровна захотела зайти в католическую церковь (католические церкви во Франции — хороший обычай — открыты весь день), помолилась, а выйдя из церкви, сказала: «Когда я молюсь в католической церкви, я чувствую себя как-то ближе к Вале и Пульке (уменьшительные имена ее дочерей-полек от ее первого брака с польским аристократом — католиком).

Когда в одном из своих константинопольских стихотворений она писала:

*В мечети Айа-Софья
Сердце мне благословил Аллах...*

— это не была простая литературная фраза. Я видел ее при посещении в двадцатом году этой замечательной мечети (бывшего православно-византийского храма): на лице ее было подлинное молитвенное благоговение.

Однажды в разговоре о Лурде и о тамошних «чудесах» я услышал от Тэффи почти то же, что за много лет перед тем мне как-то сказал Куприн:

— Конечно, православные иконы, католические статуи, иудейские свитки Торы, магометанский «Черный Камень», которому пилигримы поклоняются в Мекке, все это в е щ и , предметы материальные, но ведь к этим вещам, веками и тысячами приходили миллионы людей, принося туда свою веру, свои надежды, свою любовь. Подумайте, какая же гигантская невидимая сила должна была сосредоточиться в этих «вещах».

И если нынешние потомки этих миллионов людей тоже приносят к ним свою веру и свои надежды, то можно ли удивляться, что наиболее искренне верящие, наиболее страстно надеющиеся среди них получают в ответ ч у д о ? Ведь это же совершенно е с т е с т в е н н о .

Когда гроб Надежды Александровны опускали в могилу на русском кладбище у «Святой Женевьевы Лесов», близ Парижа, кладбищенский батюшка произнес проповедь, в которой сказал: «Надежда Александровна обличала всю мерзость нашей человеческой жизни и учила нас, как от нее очиститься!»

Это, конечно, неверно. В творчестве Тэффи не было ничего от «библейского ветхозаветного пророка», и ее женственное перо не имело ничего общего с карающим мечам. Она ничего и никого не хотела «обличать» и никого ничему поучать. Была полной противоположностью хотя бы тому же Горькому, который сам сгубил свой большой талант бесплодными потугами стать «учителем» и «проповедником» на службе у кого?..

В своем кратком надгробном слове я сказал, что о Тэффи всего лучше говорить ее собственными словами:

*Я сердцем кроткая была,
Я людям зла не принесла...*

Да, Тэффи не только не принесла людям зла, но писаниями своими сделала им столько добра, сколько не могут дать никакие нравоучительные наставления.

Вот чему мне пришлось стать свидетелем.

Служили панихиду перед только что ее остывшим телом в небольшом эмигрантском жилище, приютившемся в глубине скучного «второго» двора большого парижского дома, откуда можно видеть не солнце, а лишь унылую, серую стену противоположного здания. Многие, молившиеся за упокой ее души, горько плакали. Одна из плакавших, вернувшись домой, взяла томик рассказов Тэффи, стала читать и вдруг засмеялась. Смех был чистый и светлый. В нем не было ничего грубого, пошлого. Этот неудержимый смех сквозь слезы был данью благодарности только что ушедшей писательнице за радость и утешение, оставленное ею нам всем.

Впервые я встретился с Тэффи в Петербурге, в конце девятьсот пятого года в бурные дни первой большой волны российской революции в редакции «Новой Жизни», которая только что начала выходить под смешанной редакцией группы социал-демократических журналистов большевистского толка и нескольких «сочувствующих» и беспартийных «путчиков».

Тэффи вела в газете, насколько помнится, театральный отдел. Кроме нее в редакции был известный поэт Минский. Но их участие в газете продолжалось недолго, потому что приехавший из-за границы «товарищ Ильич» (Ленин) настоял на превращении «Новой Жизни» в чисто партийный орган и на удалении из нее «буржуазных» литераторов. Минскому и Тэффи пришлось прекратить участие в газете.

Впоследствии, уже в эмиграции, Надежда Александровна очень весело вспоминала об этом эпизоде своей литературной карьеры и без всякого раздражения, но очень забавно описывала Ленина, его внешность, манеры и прочее...

Девятьсот седьмой год. В начале года были выборы во Вторую Государственную Думу. От социал-демократической партии были выставлены три кандидатуры: по общегородской курии Ленин (под именем Карпова, по профессии приказчика) и лидер меньшевиков Ф. Дан (д-р Гуревич), по рабочей курии

автор этих строк, как междуфракционный кандидат от обеих фракций (большевистской и меньшевистской).

Ленин и Дан на выборах провалились. Я прошел, причем за меня голосовали не только рабочие, сочувствовавшие социал-демократии, но и беспартийные и даже часть рабочих эсеровского толка. В нашей социал-демократической фракции Думы большинство принадлежало меньшевикам.

У меньшевиков не было депутатов для «экстренных» выступлений, немедленных ответов на атаки противников и прочее. У них преобладали те, что немцы называют «Paraden Redner» то есть ораторы, произносящие заранее заготовленные и хорошо заученные речи. Я же как раз не любил говорить «по бумажке». Поэтому меньшевики предоставляли мне честь отбивать атаки.

Однажды мой крайний правый коллега Шульгин, взойдя на трибуну, заявил: «Кто нам докажет, что у депутата Алексинского нет бомбы в кармане?» — Выходка была весьма провокационная, ибо Шульгин не мог не знать, что наша социал-демократическая партия была против террора.

Приходилось отвечать на все это и давать отпор. Я старался делать это возможно более «весело», следуя древней поговорке: «Убивают не гневом, а смехом».

После таких перепалок участников их, конечно, осаждали в «кулуарах» Таврического дворца журналисты. Однажды я был окружен группой их, в которой было несколько дам, в том числе, конечно, неизбежная г-жа Коллонтай. Одна дама стояла немного в стороне, но когда «коллективное интервью» закончилось, подошла ко мне, посмотрела лучистым взглядом синих глаз и сказала насмешливо:

— Объясните мне одну вещь, которую я никак не могу понять. Я смотрю на ваших правых противников. Они депутаты правительственные. Ничто им не грозит. Начальство с ними. Могут делать все, что хотят. Должны бы были, значит, радоваться и быть добрыми и веселыми. А физиономии у них злые и речи сердитые. А вы крайний левый. В оппозиции к ним и правительству. А вид у вас добрый и говорите вы весело. Шутите все время. Почему это так, а не наоборот?

Я только рассмеялся в ответ.

Эта дама была Тэффи. Я не узнал ее, потому что видел в девятьсот пятом году лишь мельком.

Наблюдения Тэффи над «злыми» и «добрыми» или, вернее, над «сердитыми» и «веселыми» оправдались в семнадцатом году. Желчный монархист Шульгин был в числе трех депутатов, потребовавших отречения у императора Николая II, то есть, выражаясь более грубо, сам стаскивал корону с головы своего царя, тогда как я, мой товарищ по партии Плеханов, эсэры Авксентьев и Бунаков, старый народоволец Морозов, шлиссельбургская узница Вера Фигнер и вождь анархизма князь Кропоткин призывали рабочих и крестьян не делать революции во время войны, дабы избежать потери войны и потери свободы.

В семнадцатых — восемнадцатых годах мне не приходилось встречаться с Тэффи. Мне говорили, что она «сочувствует» нашей плехановской группе, но в списках членов нашей организации ее имени не было. Во всяком случае мне было известно, что Тэффи не принадлежала к числу тех, кто спешил «перестраховаться», и наклеивал на себя красный бант. Когда я позже поздравлял с этим Тэффи, она смеялась:

— Что же мне было делать? Красное мне не к лицу. Мне идет больше всего голубое.

Революция семнадцатого года поразила Тэффи своей бессмысленностью, дурацкой бестолковщиной. Это видно из ее превосходного рассказа «Монархист», где описывается «телеграфист Ванин, который праздновал Первое мая, болтался целый день по улицам, кричал «ура!», кричал «долой!», ел на Сенной жареные в сале пирожки, пел «Марсельезу» и только к вечеру, изнеможенный я пьяный от весны, радости и свободы, уговорил себя вернуться домой.»

А когда бескровность Февральской революции и ее более чем временного правительства сменилась кровавым большевистским «порядком», — Тэффи, конечно, не было больше места в России. При первой же возможности она перебралась на юг и при первой «белой» эвакуации уехала в Константинополь, где

я и встретился с нею. С этого времени и началась наша большая дружба.

Дружба эта в сущности не прекращалась с двадцатого года до самой смерти Надежды Александровны, как она сама это отметила в надписи на книге, которую она мне подарила незадолго до кончины. Бывало так, что время и пространство, события, житейская обстановка, личные обстоятельства надолго отделяли нас друг от друга, но всякий раз, когда мы после снова встречались, мы встречались, как будто виделись только вчера.

И при этих встречах всегда совершенно свободно, ничего не утаивая, рассказывали друг другу свое житье-бытье за все, порой очень долгое, время, которое прошло после нашей предыдущей встречи.

«Горек хлеб изгнания». Да, эмиграция трудная вещь, даже для тех, кто эмигрирует с заранее поставленной политической целью: для борьбы из-за рубежа с тем, что невыносимо, оскорбительно и отвратительно для него внутри его родной страны. Даже люди настолько волевые, как хотя бы тот же Ленин, чувствовали себя в эмиграции очень тяжело.

Осенью девятьсот седьмого года, когда после бессмысленного роспуска Государственной Думы я жил в Финляндии и готовился к отъезду в Женеву, Ленин прислал мне оттуда длинное письмо, в котором описывал эмигрантскую жизнь и атмосферу в чрезвычайно мрачных красках.

А ведь у Ленина было много возможностей даже и в изгнании: руководство партийной работой, участие в делах II-го Социалистического Интернационала, нелегальные связи с внутрирусскими организациями партии, редактирование партийного органа за границей, сотрудничество в легальной социал-демократической прессе, выходившей в России, и т. д...

Тэффи было, конечно, очень трудно в эмиграции. Разумеется, у нее было сильное лекарство от той особой болезни, которая именуется по-латыни ностальгией, а по-русски тоской по родине: ее литературная работа, которая была для нее не дамским

развлечением, а главным делом жизни и одновременно — источником материального существования.

В России популярнейшая писательница Тэффи зарабатывала сколько хотела. В эмиграции русские писатели самые крупные, в сущности, всегда очень нуждались. Если бы рассказы Тэффи дошли до массового французского читателя, то может быть положение существенно изменилось бы.

Но две ее книги, вышедшие во французском издании, были переведены как будто «правильно» с грамматической точки зрения, но в переводе не осталось ничего от блеска и воздушной легкости ее пера, от ее живого и яркого языка, и, читая эти книги, французский читатель мог найти в них лишь неплохую, довольно остроумную, но ничего незаурядного не представляющую писательницу.

Что касается русских эмигрантских издательств и органов печати, то сотрудничество в них оплачивалось и оплачивается (если вообще оплачивается) скудно...

Тэффи была вне всякой практической и активной политики и была беспартийной. Но, дворянка по крови и даже с графским титулом по первому браку, она была демократкой по натуре. Всякая общественная несправедливость, социальное и национальное неравенство было противно ее душе, как и всякое насилие над человеческой личностью, всякая диктатура. Она очень любила Дмитрия Мережковского, как писателя, и гордилась его одобрительными отзывами о языке ее рассказов. Но когда, став эмигрантом, Мережковский впадал в преклонение сперва перед Пилсудским, потом перед Муссолини и, наконец, перед Гитлером, Тэффи была глубоко задета этим и искала оправдания ему в том, что «это у него, должно быть, в крови: ведь отец его был дворцовым служащим»...

А вместе с тем Тэффи не без некоторой гордости вспоминала о том, что император Николай II был ее читателем и отмечал в своем «Дневнике» дни, когда он читал ее рассказы...

Эвакуировавшись из России в Константинополь, Тэффи недолго оставалась там и уже в двадцатом году поселилась в Па-

риже. Первое время жила в отеле, а потом обосновалась в квартире со своими друзьями — артисткой Т. А. Оксинской-Лавровой и ее мужем, который когда-то был видным деятелем российской социал-демократии (и даже членом Центрального Комитета партии под псевдонимом «Глебов»).

В одном из своих писем того времени Тэффи выражала удовлетворение, что ей удастся устроить свое парижское жилище так, чтобы оно походило хоть немного на ее петербургскую квартиру. Но это, разумеется, была только иллюзия. В Париже, конечно, дышится легче, чем где-либо в Западной Европе, но Париж не мог заменить Тэффи ее Петербурга. Чтобы все-таки у нее было в Париже «что-то похожее», как она говорила в письмах, на ее петербургскую жизнь, она решила завести у себя в Париже свой литературно-артистический «салон», который она потом непочтительно называла своим «птичьим двором».

«Скоро состоится открытие моего салона, — писала она мне. — Народу, очевидно, будет гибель. И мне, очевидно, будет гибель. Отвыкла от болтовни и все слова путаю...»

«Скоро начнут приходиться ко мне знакомые женщины и просить меня, «как писательницу», помочь им разобраться в душевных тревогах. Одна скажет: «Три месяца тому назад он сказал мне: «Мы любим друг друга». Можно ли на этом строить свою жизнь? — Строй, милая, строй и жизнь и смерть, — отвечу я...»

Тэффи пользовалась огромным успехом у мужчин и всегда была окружена толпой поклонников. Это было естественно, ибо Надежда Александровна была на редкость обаятельна. Но опасна для поклонников, потому что была на редкость умна.

Однажды она открыла мне очень простой «секрет» легкого способа, каким женщина может избавиться от слишком предприимчивого обожателя: если мужчина изображает из себя безумно влюбленного, бросается на колени и простирает слишком близко руки, самое простое — это постучать по столу или по спинке стула, подражая стуку в дверь, повернуть голову к двери и сказать испуганным голосом: — Вой-

дите! — Безумно влюбленный человек, в особенности, если это человек женатый, моментально вскакивает, поспешно отряхивает пыль с коленок и делает вид, будто ничего особенного не происходило.

В письмах и беседах со мной Тэффи забавно цитировала своих поклонников, которые считали своим долгом изощрять красоту стиля своих чувствительных излияний, чтобы этим понравиться «писательнице».

«...Все кругом либо жулье, либо дурачье. Кстати о дурачье — я получила письмо от X. (речь шла о небезызвестном и многосемейном писателе), в котором между прочим такая фраза: «А когда Бог приведет увидеться — Аллах ведает». Он шлет вам привет. Описывает «молчащие вековые замки» и «говорящие леса». Из этого последнего я сделала вывод не знаю почему, но чувствую, что верно, что на них всех работает его старуха-мать».

«...Получила письмо от У. (тоже небезызвестный литератор), в котором он пишет, что я — флакон духов д-Орсэй и что у меня глаза «нестерпимо шестнадцатилетние». Не убейте меня, миленький, я не виновата!»

Но очень скоро оказалось, что все это эмигрантское подобие ее прежней петербургской жизни — только подобие. Очень скоро после переселения в Париж Тэффи стала признаваться на словах и в письмах, что ей «живется очень тупо», что она «чувствует себя скверно, — усталой и раздраженной».

А в одном из писем, полученном мною в дальней поездке (я много ездил по делам журналистским и политическим), Надежда Александровна жаловалась, что не может работать, что ей трудно писать. А ведь писательство было главным делом ее жизни.

Я оборвал свою поездку и ускорил возвращение в Париж. Увидав Тэффи, я понял, что «нечто похожее» на Петербург, которое она пыталась создать у себя и вокруг себя в Париже, был лишь «эрзац», которым она не могла обмануть себя. Когда Надежда Александровна вновь повторила, что не может заставить себя серьезно работать, писать рассказы и статьи, я спросил: «А почему вы не вернетесь опять к стихам? У многих пи-

сателей бывают моменты, когда им легче высказаться в стихах, чем в прозе».

И Тэффи действительно нашла в себе «отвлекающее средство» в поэзии. Писала в этот период очень много стихов. Обычно по написании посылала их мне.

Некоторые из них я напечатал в еженедельнике «Огни», который издавал в Праге, а редактировал на расстоянии, из Парижа или с дороги. В «Огнях» сотрудничали также Бунин и Куприн. Большая часть стихотворений этого времени были включены Тэффи в сборник под заглавием «Passifloga»

Тэффи любима широкими кругами читателей главным образом как автор рассказов. Как поэтессу ее знают мало. Это жаль. Среди ее стихов есть такие, которые войдут в антологию русских поэтов. Знакомство с ее стихами открывает читателю совершенную другую Тэффи, чем та, которую он знает по ее юмористическим рассказам. Стихи ее — песни грусти, даже тоски.

Моральный кризис, которому подверглась Тэффи в начале ее эмигрантской жизни, мало-помалу прошел. Поэзия несомненно сыграла роль отвлекающего средства. Тэффи понемногу приспособилась к искусственным условиям невольной жизни на чужбине, вернулась к работе, ее подпись стала украшением русской прессы за границей, появились книги ее рассказов.

Между прочим, что касается стихов, Тэффи разделяла мнение Пушкина о том, что поэзия (лирическая) всегда немного «глуповата». Она истолковывала эту курьезную формулу так: чтобы написать н а с т о я щ и е лирические стихи, надо быть в состоянии большой влюбленности, разочарования, обиды, раздражения, гнева, ненависти, религиозного экстаза. Но во всех этих случаях человек теряет способность «рассуждать разумно», то есть «глупеет». Есть замечательные поэты, которые не «глупели», но и их стихи — не настоящая лирика, а очень умная, но холодная «версификация». Такими версификаторами для Тэффи были, например, во Франции Стефан Маларме и Поль Валери, а в России Валерий Брюсов.

В качестве другого примера, подтверждающего пушкинское определение лирической поэзии, Тэффи привела Гумилева и Ахматову: Гумилев — замечательный поэт, но так как он все-таки всегда «рассудочен», то, как лирик, более «глуповатая» Ахматова выше его.

Вернувшись другой раз к этой же теме, Тэффи говорила: чтобы писать настоящие лирические стихи, надо быть или необыкновенно счастливой или глубоко несчастной, от избытка счастья, как и от избытка несчастья, «глупеть». Вывод: если кто-либо из друзей хочет, чтобы я писала хорошие лирические стихи, он должен постараться сделать меня или очень счастливой, или очень несчастной...

О том, что Тэффи серьезно больна, я узнал с большим запозданием, потому что несколько раз уезжал за границу.

Я стал навещать ее, и снова возобновились наши встречи и переписка.

В марте этого года один большой французский литературный еженедельник поручил своему сотруднику, молодому талантливому романисту Франсуа Бастиду, анкету о русских писателях в Париже. Бастид обратился за содействием ко мне, и я познакомил его с несколькими писателями, в том числе, конечно, и с Тэффи. Беседа ее с Бастидом была очень своеобразна. Тэффи была в каком-то задорно-веселом настроении. Когда Бастид спросил ее, какое определение она сама может дать себе то есть своему литературному лицу, Тэффи ответила:

— Кто я? Я — старая колдунья!

Несколько удивленный, Бастид спросил:

— А какое у вас представление о жизни?

— Жизнь? Это свеча, которую надо жечь с двух концов!

— Это теоретически, не так ли?

— Почему теоретически? Я всю жизнь только так и действовала...

Наконец, Бастид, которому было поручено осведомиться о связях русских писателей с французами, спросил Тэффи, есть ли у нее отношения с французской средой. Она, не задумываясь, ответила:

— Ну, как же? Мой лучший друг — соседний мясник, который поставляет мне бифштексы.

Бастид откланялся. После его ухода Тэффи с виноватым видом сказала:

— Я ему глупостей наговорила. За кого он теперь меня будет считать? Дайте мне его адрес. Я напишу ему серьезное письмо.

Адрес я дал, но заметил, что писать, пожалуй, и не надо, потому что Бастид человек умный и сам сумеет во всем разобраться.

Так и вышло. Когда появилось интервью Бастиды с Тэффи, в нем было всего десяток строк. Но оно начиналось так: «Что фантастично в Тэффи, это — ее полнейшее одиночество». Из этой изумительной фразы, полной глубокого смысла, я понял, что молодой французский романист, впервые видевший Тэффи, сумел заглянуть в тот сокровенный уголок ее души, до которого, мне кажется, не всегда достигал глаз ее русских читателей, почитателей и друзей.

Вскоре после этого я узнал из русских газет, что празднуется пятидесятилетие литературной деятельности Тэффи. Я осведомил об этом французскую и бельгийскую прессу, откликнувшуюся на это симпатичными заметками, которые я послал «юбилярше», присоединив к ним и мои дружеские поздравления. Ответ Тэффи был таков (письмо от 13 июня 1952 г.).

«Дорогой друг!

Сердечно благодарю за доброе ко мне отношение. Я никакого юбилея не праздную. Торговать старостью — последнее дело. Зимой устроили вечер моих произведений в Нью-Йорке и как причину придумали пятидесятилетие литературной работы. Зеелеру (редактору «Русской Мысли») захотелось тоже отметить этот знаменательный срок. Его газета всегда относилась ко мне очень прохладно, и вдруг все расчувствовались... Простите за почерк. Трудно писать. Чувствую себя плохо. Никуда не ездила. Лежу, дремлю. Разговаривать не могу — утомляюсь. К телефону не подхожу. Когда поправлюсь, непременно захочу вас повидать».

Повидались мы очень скоро. Был солнечный день, и Надежда Александровна захотела пойти погулять. Сидели больше часу на обогреваемой солнцем террасе кафе, на площади Виктора Гюго. Тэффи чувствовала себя хорошо и много рассказывала о себе. Вспоминала, как в сорок пятом году, в период советского «флирта» с эмиграцией, посол СССР Богомолов, представленный ей на каком-то собрании, сказал:

— Надежда Александровна, вам надо поскорее вернуться в Россию. Ведь мы вас читаем и так любим.

— Ваши государственные издательства даже, кажется, переиздают некоторые мои книги и книги других писателей-эмигрантов, — ответила она, — но почему-то не считают нужным платить им гонорар.

— Приезжайте домой! Вам все будет сторицей заплачено. Вам будут даны все возможности!

Тэффи не соблазнилась. Вспоминая об этом разговоре с Богомоловым, она задумчиво сказала:

— Не знаю, право. Будь я помоложе, я может быть и уехала бы туда.

— Да что бы вы там стали делать, милая Надежда Александровна? — ответил я. — Ведь там даже Демьяну Бедному и Зощенко не удалось до конца приноровиться. Горького отравили, Есенин и Маяковский покончили самоубийством. А что сделали с несчастной Ахматовой? Заставили ее писать стихи в честь Сталина. Это Ахматову-то!

В глазах Тэффи вдруг зажегся тот огонек, который обычно появлялся у нее, когда она раздражалась своими блестящими парадоксами.

— А знаете, Сталина мне жалко. Очень жалко.

— Что?

— Вы только подумайте: когда простой уголовный преступник убивает человека ему, вероятно, страшно тяжело. Я никогда никого не убивала, но уверена, что убивать ужасно тяжело и утомительно даже одного человека. А ведь Сталин — сколько людей он убил! Его надо пожалеть...

— Ну, если вы с такими мыслями поедете в СССР, то «возможности» ваши будут весьма ограничены.

Затем говорили о Власове и власовцах. Тэффи брала у меня на прочтение книгу о «власовском движении», изданную в Нью-Йорке одним меньшевиком, строго осудившим Власова.

— Этот автор неправ,— сказала она. — Ведь Власов, в сущности, делал по отношению к сталинской диктатуре то же, что Ленин по отношению к царской власти. И союзников он искал там же, где Ленин, — в Берлине. Ленин искал помощи у Вильгельма II и генерал Людендорфа. Власов у Гитлера и его генералов. А сами меньшевики? Ведь сколько их самих было среди пораженцев и полу-ленинцев в семнадцатом году! И те их них, кто заявляли себя противниками Ленина, стояли в это время у власти. А что они сделали, чтобы помешать ленинскому перевороту?..

Тэффи, «женщина не-политическая», как она себя называла, в политике умела разбираться как следует, и суждения ее бывали основательны и здравы.

Посидев долго «на солнышке», мы пошли домой. У самого дома, где жила Надежда Александровна, начался у нее сильный сердечный припадок. Пришлось тут же, на тротуаре принимать «пилюли для сердца». Когда прошли два двора и подошли к лестнице, я хотел помочь ей подняться на ее второй этаж, но она воспротивилась:

— Не хочу, чтобы вы видели, какая я стала калека. Поднимусь одна. Уходите!

— Позвольте хоть подождать внизу, пока вы не подниметесь, вдруг вам будет нехорошо, на лестнице!

— Хорошо, оставайтесь, пока я не дойду до моей двери. Но только, чур, отвернитесь и не смотрите на меня. Отвернитесь честно, не подглядывайте, а иначе я и в самом деле упаду.

Ее «восхождение» было долгим и мучительным. Слышно было, как она старалась переступить с одной ступеньки на другую, подолгу останавливаясь на каждой, чтобы передохнуть. Слышно было, как ее больные руки царапали стены. Слышно было, как она открывала сумочку — вероятно, доставала и принимала свои пилюли... Наконец, взошла и вдруг торжествующим голосом крикнула:

— Видите, я вам говорила, что сама дойду! Вот и дошла! А если бы вы на меня смотрели, наверно, не дошла бы.

В ней было много женского кокетства — хорошего, без всякой пошлости и вульгарности. Поэтому ее очень «стесняла» ее болезнь:

— Зачем вы хотите видеть меня старой и больной?

— Не говорите гадостей, Надежда Александровна. Вы же отлично знаете, что для меня, да и всех, кто вас любит, вы всегда останетесь все той же Тэффи.

— Этим меня не обманете, — смеялась она. — Это обычное мужское вранье. Все мужчины всегда это говорят старухам.

На другой же день я прислал ей одну из моих французских книг с надписью: «Вечно милой Надежде Александровне Тэффи».

Семнадцатого июня я получил от Тэффи депешу: просила меня придти к ней не раньше шести часов. Понял это в том смысле, что ей надо говорить о чем-то с глазу на глаз, ибо ее обычные приемные часы были до шести часов.

Когда я приехал, она велела мне взять листок бумаги и записать несколько сведений о ее делах с издателями. Потом говорила о своем «архиве» (рукописях, письмах и прочее), судьба которого ее беспокоила. Уже до этого она дважды говорила со мной об этом и спрашивала, куда и как можно устроить этот «архив». Я рекомендовал ей библиотеку одного иностранного университета, которая несколько лет тому назад взяла часть моего собственного архива.

— Когда я поправлюсь, мы с вами займемся разборкой моего архива, — сказала она и вдруг прибавила: — Скоро вы, вероятно, опять увидите мою старшую дочь... (я признаться понял это, как намек на то, что дочери скоро придется приехать ее хоронить. Так это и было).

Потом Надежда Александровна стала вспоминать и перечислять имена собратьев по перу и друзей. Перечисление было очень траурное: большинства не было в живых, а некоторые из живущих были больны и не в состоянии даже приехать к ней.

— В сущности, вы оказались, — сказала она, — если не самым верным, то во всяком случае самым вежливым из моих старых друзей. Другие померли раньше меня или болеют, а вы не сделали ни того, ни другого, и даже в состоянии всегда придти,

когда мне надо вас видеть. Это очень вежливо с вашей стороны. Спасибо вам!

— Не стоит благодарности. Ведь это и в моих собственных интересах — подольше не помирать и не хворать, — ответил я, следуя нашей обычной манере говорить друг с другом «весело» и полушутя.

— Да, но в сущности ведь это не совсем хорошо, что мы с вами опять так сдружились за последнее время.

— Почему, Тэффинька?

— Как почему? Не надо слишком привыкать друг к другу. А то, если один умрет раньше другого, этому другому, быть может, станет немного скучнее жить на свете. Это со стороны умершего будет очень некорректно. Обещайте, пожалуйста, что вы мне такой гадости не сделаете и постараетесь не помереть раньше.

— Постараюсь, Тэффинька, — попрежнему «весело» ответил я. А сердце у меня сжалось.

Тэффи закрыла глаза. Руки ее упали без силы. Но через минуту она очнулась, подняла менее больную руку, перекрестила меня и прошептала:

— Ну, Господь с вами, милый друг. Вам пора уходить. А я постараюсь вздремнуть.

И она действительно задремала. Я поцеловал тихонько ее пальцы, вышел из комнаты и бесшумно закрыл за собой дверь.

Через несколько дней она переехала, то есть вернее сказать, ее перевезли в деревню под Парижем. Мне пришлось уехать в Бретань, на берег океана.

Из деревни Надежда Александровна писала мне. Когда в одном из писем она несправедливо отозвалась с раздражением о лице, которое этого не заслуживало, я откровенно сказал ей это в письме, где, между прочим, говорил, что в личной и частной жизни не надо ни на кого «сердиться», «все во всем виноваты, и в то же время никто ни в чем не виноват.»

Ответ Надежды Александровны был таков (письмо, полученное двадцать седьмого августа 1952 года):

«Спасибо за ласковое письмо.

Я уже давно не сержусь и не раздражаюсь. Здесь очень хорошо, все хорошо, кроме меня самой. Приехала чуть живая, почти не выходила из комнаты. Даже обед мне подавали в постель. Начала немножко поправляться, и вдруг, с неделю тому назад, заболела у меня нога, так что не могу на нее ступать. Был два раза доктор. Это не то артрит, не то артерит, не то неврит. Словом, болит... По-видимому, это болезнь затяжная... Доктор не обнадеживает на скорое выздоровление... Картина получается не очень веселая. Но, как ни странно, настроение у меня хорошее. На душе тихо...

Все это очень грустно. Объективно грустно. Мне лично не грустно.

До свиданья, дорогой друг!»

Это было последнее письмо, которое я получил от Надежды Александровны. Порадовался за нее, что у нее на душе тихо. А вскоре после этого она и сама затихла совсем.

Затихла навеки наша вечно милая Тэффи... До свиданья, милый друг!

Наталья Тарасова

Гражданин живой России

Подлинная любовь к человеку ли, к родине — тиха, спокойна и не бросается в глаза окружающим. Она уверена в себе, и ее жизнь не зависит ни от времени, ни от пространства. Далек ли объект любви, близок ли, отвергает любящего или принимает — не играет решающей роли для ее горения в мире.

Есть люди, для которых эмиграция, в которую их швырнул большевистский переворот, не явилась ни духовной смертью, ни трагедией изгнания. Любя Россию, оставаясь ей верными, они нашли себя за границей и в продолжение десятков лет упорно и кропотливо трудятся для ее культурного обогащения.

«Изуродовать сознание народа можно только временно. И оглядываясь назад, мы убеждаемся, что русский народ не потерял памяти». Потому что, по словам маршала Франции Фердинанда Фоша: «Народы гибнут лишь тогда, когда они утрачивают память»... «После великих мук неизбежных при всяких исторических переворотах, наше отечество начинает отвергать искушение «Непомятого родства». Всякий, кто знает, что побуждение смерти уже преодолено и постепенно изгоняется животворными силами возрождения.

О русском «родстве» и историческом наследии в его всевозможных проявлениях, славных или горестных, русская отечественная жизнь заговорила вновь».

Так пишет в одной из своих недавних работ Николай Артемьевич Еленев. Но и тогда, когда искушение «непомнящего родства» было в силе, этот человек не прекращал своего упорного труда для будущей России. Потому что он твердо знал, что «отвлеченно-бесчеловечные цели и опыты голого вождизма, а таковой обнаружился не только в России, обречены на конечный распад».

Поэтому каждая из лежащих передо мной четырех последних работ Еленева обращена к будущему нашей страны, как скромный вклад в сокровищницу ее культуры.

«Настоятельная необходимость учета, описания и исследования произведений русского искусства, находящихся за пределами России, в первую очередь, а кроме того, отыскание изобразительной россики, — одна из первых задач будущей русской просветительной деятельности. Когда и кем будет сделана этот почин, сказать трудно, но что такая обязанность возникнет перед русской общественностью, является несомненным.»

Сколько спокойной веры, сдержанной энергии и строгой деловитости в этих скромных словах гражданина живой России...

Почин уже сделан самим Еленевым. Большая часть его жизни в эмиграции посвящена именно этой огромной и трудной задаче.

В том году Николай Артемьевич Еленев отпраздновал свое шестидесятилетие.

Родился он 31 октября 1894 года в родовом имении «Орловка», в Екатеринославской губернии. Юность его протекла в Ялте и Москве. Первая мировая война застала Еленева за границей, куда он отправился после окончания гимназии. После нескольких арестов ему все-таки удалось вернуться на родину. Одновременно учась в Московском университете (на юридическом факультете) и в Археологическом институте, Еленев с увлечением предается изучению египтологии и русского искусства. Затянувшаяся война побудила его поступить в Морской корпус в Петербурге. После плавания в Балтийском море осенью 1915 года он был произведен в гардемарины.

После того как Еленев покинул в 1920 году Россию, прошел через чистилище Константинополя и переехал в Прагу, он продолжил свое образование на Русском юридическом факультете, находившемся под протекторатом Чешского университета, у таких общероссийских известных профессоров, как, например, Л. Н. Новгородцев, Д. Д. Grimm, М. М. Катков, П. Б. Струве и другие.

Все свое свободное время Еленев посвящает, где бы они ни находился, своему призванию — изучению искусства. В Константинополе он ознакомился подробнейшим образом с памятниками византийского искусства и с турецким художественным наследием, в Чехии изучал искусства, находящиеся на ее территории. Но при этом никогда не забывал главного — своего служения русскому искусству. Будучи библиотекарем в «Русском Очаге» в Праге, Еленев основал отдел русского искусства и составил обширный «Словарь русских художников и указатель их произведений» (около 8.000 зарегистрированных иллюстраций)¹.

Воспользовавшись тем, что в Праге был Итальянский институт, он изучал в нем итальянский язык и итальянскую литературу и получил все медали. Одновременно с этим Еленев окончил Чешский университет в 1938 году.

Перед началом Второй мировой войны ему было предложено место ассистента по истории искусства в Познани в немецком Институте Истории Искусства, которое он принял и работал с профессором Отто Клетцелем, преследуемым нацистами. Здесь Еленев составил обширную библиографию искусства славянских народов. Идея, легшая в основание этого труда, была следующей: создать базу для дальнейших работ в этой области, сделать ее почином для культурного сотрудничества всех славянских стран.

¹ К огорчению автора «Словаря», этот справочник, оставшийся в Праге, в настоящее время получить невозможно. — Н. Т.

Изучение чешского искусства вылилось в книгу о Карловом мосте, которую приобрело Министерство иностранных дел Чехословакии, и ряд русских работ о чешском искусстве. Большая иллюстрированная работа о чешском живописце Иосифе Манесе ввела Еленева в число историков чешского искусства. И его биография появилась в Чешской национальной энциклопедии.

Интересы искусствоведа Еленева весьма разнообразны. Его перу, например, принадлежит большое исследование «Идея труда в изобразительном искусстве», которое ставило своей задачей объяснить стихию труда, его смысл в эстетическом сознании разных эпох. Напечатана работа была на четырех языках.

К исследовательским работам и новым данным Еленева следует отнести следующие две книги: «Путешествие великой кн. Екатерины Павловны в Богемию в 1813 году», в которой автор дает неизвестные до тех пор иконографические данные о ней и исследует ее дипломатическую роль в последней коалиции против Наполеона. И «Петр Великий и живописец Купецкий», вышедшая на немецком языке и бывшая дважды под запретом нацистской цензуры.

В 1942 году Еленев возвращается в Прагу, где получает место научного ассистента в немецком Институте Истории Искусств при Университете имени Карла IV. В 1943 году получает звание доктора философии. После окончания войны работает в качестве переводчика в Чешском Министерстве Информации (Правительство президента Бенеша). В 1946 году пересажает в Париж, где занимается изучением музейных богатств Франции. В 1950 году переселяется за океан в США. Там и проживает в настоящее время.

Среди целой серии статей о русском и западноевропейском искусстве следует назвать следующие работы: о Дюрере, Купецком, Брадле, Кэте Кольвитсе, Георге Гроссе, Скрете, Вацлаве Голларе, а также статьи, переведенные на сербский язык, о жизни и творчестве Кустодиева, Врубеля, Серо-

ва, Добужинского, Александра Бенуа и о современной русской графике.

Литературную свою деятельность Еленев начал еще в России. За границей его работы появились на восьми языках.

В настоящее время Еленев работает над книгой «Пути русского эстетического индивидуализма» и над исследованием «Художественный образ вел. кн. Екатерины Павловны».

В «Гранях» Н.А. Еленев опубликовал свою работы о поэтессе Марине Цветаевой², которую хорошо знал лично. Другие его статьи в разное время были напечатаны в Нью-Йоркском журнале «Новик», издаваемом Русским Историко-Родословным Обществом в Америке, под редакцией Товарища Председателя Н.Д. Плешко.

Даже самые краткие статьи отличаются интересными мыслями, которые автор разбрасывает как бы невзначай — «по поводу...»; высокой эрудицией, благородной простотой изложения, прекрасным редким в наше время русским языком и спокойной обращенностью, как я уже упоминала вначале, к будущей России.

Все четыре лежащие передо мной статьи снабжены прекрасными репродукциями портретов, найденных автором и публикуемых впервые.

В 1956 году Еленев напечатал в «Новике» работу «Изобразительная россика и крымские акварели Томаса Эндера». С первых же строк в этой статье автор ставит перед русскими искусствоведами важную цель и определяет их очередную задачу «перед отечественной историей искусства. Я имею в виду довольно значительную область изобразительной россики, то есть совокупность произведений иностранных художников, побывавших в России и запечатлевших ее образы в своих созданиях. Речь идет о ликах нашей родины в разные исторические времена».

Автор тут же как бы набрасывает программу этой грандиозной работы, указывая, что следует начать с исследований изоб-

² «Грани» № 42. — Н. Т.

ражений природы, городов, исторических событий в России в древних рукописях и летописях других народов. Здесь же он называет ряд интереснейших рукописей: например, болгарскую рукопись XIV века Манасии, хранящуюся в Ватиканской библиотеке, которая в свою очередь переведена с греческого подлинника XII века.

К сожалению, у меня нет возможности поместить весь тот интереснейший список указаний и комментарии к нему автора в этой маленькой статье. Во второй же части Еленев останавливается на крымских акварелях известного австрийского живописца Томаса Эндера, сопровождавшего эрцгерцога Иоганна при его поездке в Россию в 1837 году. Работа о Томасе Эндере — одно из вложений Еленева в область изобразительной россики.

1957 год подарил нам в том же журнале «Новик» работу Еленева о стольнике Потемкине, снабженную репродукциями с его трех портретов и одной гравюры «Прием Потемкина Людовиком XIV».

Четкий исторический портрет одного из крупных государственных деятелей второй половины XVII века Петра Ивановича Потемкина возникает перед читателем. Он особенно ценен тем, что даже у Ключевского читатель не найдет упоминания об этом лице. Здесь же, в объяснение этому, Еленев высказывает мысль о направлении новой истории, покоящейся на «освещении и истолковании событий на основе их причинной связи, а не описании жизни и поступков отдельных личностей».

Стует автор и на то, что «внешность своих государственных и культурных деятелей широкое внестолничное русское общество знало мало... Все знали портрет Белинского, но известно ли, как выглядел Лобачевский?» Положение в настоящее время в России еще несравненно хуже.

Все приложенные портреты Потемкина исполнены заграничными мастерами и находятся вне пределов России.

История русского портрета, начавшаяся сравнительно поздно, подлинный смысл портрета занимают Еленева. Мысли на эти темы разбросаны не только в работе о стольнике Потемкине, но и в последней его работе, приуроченной к столетию со дня смерти

великой княгини Марии Павловны, дочери императора Павла Петровича — «Добрый ангел» («Новик», 1959). Портреты и скульптурное изображение великой княгини Марии Павловны находятся в Франкфурте, в музее при «Доме Гёте». Она была выдана за наследного принца Саксен-Веймар-Эйзенахского Карла-Фридриха, который вступил в правление великим герцогством в 1828 году. Благодаря стараниям ее свекрови и ее собственным, Веймар «стал средоточием духовной жизни всей Германии». Мария Павловна «привлекла к своему кругу наиболее выдающихся людей эпохи, таких как Гёте, Шиллер, Гердер, Виланд Франц Лист и многих других». По свидетельству Гете, Мария Павловна «всегда была для страны добрым ангелом и останется им». Еленев приводит и отзывы о ней Шиллера и Франца Листа. В свое время она помогла скрыться преследуемому властями Рихарду Вагнеру. Велико ее значение «и участие в культурных взаимоотношениях русского и немецкого мира в первой половине минувшего века». Но и эта область, как отмечает Еленев, остается еще белым пятном на карте нашей культуры.

Интересно также отметить, что по утверждению Еленева, «Гёте... едва ли не первый обратил внимание на своеобразие русской иконописи», в чем содействовала ему великая княгиня Мария Павловна. Этот почин Гёте разросся в наши дни в глубокий интерес к русской иконе со стороны Европы и Америки и «может рассматриваться как первое признание Европой и Америкой русского гения в области мирового искусства».

Работа, посвященная роду Пименовых, одареннейших скульпторов и художников XIX века в России и снабженная несколькими портретами, невольно обращает внимание на тайну наследственности этой семьи, из рода в род передающей своим членам художественный дар.

Ограничиваясь этим неполным обзором творческой жизни Николая Артемовича Еленева, можно только искренно позавидовать ей и пожелать автору окончить начатые труды, написать новые и опубликовать и те и другие.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Евгений Замятин

Современная русская литература*

Вы подошли к горе. Вы поднимаетесь. Вам прекрасно видно гору: камень, куст, по кусту ползет червь. Вам видно прекрасно — и все-таки, когда вы стоите так на горе — вы не видите ее, вы не можете почувствовать ее размеров, не можете определить ее очертаний. И только издали, отъехав на десяток верст, когда уже далеко будут куст и червяк, все подробности горы — только издали вы увидите самую гору.

Грандиозные события последних лет — мировая война, русская революция — та же самая гора. Пока мы видим только куст, червяка, камень, а гору увидим только *о т ъ е х а в ш и* на *д е с я т о к л е т*. И только тогда может появиться подлинная художественная литература о мировой войне и революции. То, что художники слова пытаются сказать об этом сейчас — напрасный труд, (однобоко в ту или другую сторону). Современник неизбежно попадает в положение одной чиновницы времени 1812 года, которая проклинала Наполеона не за что-нибудь другое, а за то, что во время Бородинского сражения случайной пулей была убита ее прекрасная корова.

Вот почему, когда я буду говорить с вами о новейшей русской художественной литературе, я оставлю в стороне литера-

* Публичная лекция в Лебединском Народном Университете. Прочитана 8. 9. 1918.

тора последней минуты, я оставляю в стороне попытки ответить на рев бури за этими стенами. Эти попытки войдут в историю революции, но в историю искусства они не войдут.

Чтобы перейти к тому, что я называю новейшей русской литературой, позвольте мне начать с *А д а м а*.

Тот период, о котором я хочу говорить с вами — начинается Чеховым и кончается литературой предреволюционной эпохи: за время революции литература ничего не создала — или мы не знаем.

Это не случайно. Первое: этот период представляет собою логически замыкающийся цельный цикл, как увидите дальше, и второе: этот период ограничен одинаковыми вехами: тенденциозной литературой.

Помните, как в Библии рассказывается предание о появлении первого человека? Было создано сперва тело, затем — появился Дух, противоположность телу, и, наконец, после соединения двух противоположностей, возник человек.

Это — тот же самый путь, которым развивается общественный организм.

Так капитализм — парламентски демократическая свобода личности, свободная конкуренция в экономике, но экономическое порабощение одного класса другим. Социалистический строй — государственное ограничение личности, государственное регулирование экономики, но экономическое раскрепощение. Следующей стадией развития общества будет, может быть, в далеком будущем такой строй когда не будет необходимости в принудительной власти государства. Вот тот путь, о котором вам, вероятно, приходилось читать и который именуется диалектическим путем развития. Мы попробуем проследить этот путь в развитии новейшей русской литературы.

В конце XIX и в начале XX века самодержцами русской литературы были бытовики, *р е а л и с т ы*: Горький, Куприн, Чехов, Бунин, и позже — Арцыбашев, Чириков, Телешов и другие, печатавшиеся в «Знании» и «Земле». У этих писателей —

все — телесно, все — на земле, все — из жизни. Горьковский городок Окуров мы найдем, быть может, не только на земле, но и на географической карте. Купринский поручик Ромашев из «По-единка» под другой фамилией, быть может, служил в одном полку с Куприным. Чеховская девчонка Варька, в великолепном рассказе «Спать хочется» — укачивала целые ночи напролет господского младенца — и, наконец, не стерпела и задушила его — это действительно происшедший случай, и об этом случае рассказывает еще Достоевский в «Дневнике писателя».

Вам, конечно, ясно: я не хочу сказать, что все, описанное в книгах писателей этого периода, происходило и на самом деле. Но все это могло произойти в действительной жизни.

Писатели этого времени — великолепные зеркала. Их зеркала направлены на землю, и их искусство в том, чтобы в маленьком осколке зеркала — в книге, в повести, в рассказе — отразить наиболее правильно наиболее яркий кусок земли.

Подлинных, самых типичных, наиболее художественно значительных, здесь два имени: Чехов и Бунин.

Горький — одна из крупнейших фигур этой группы — стал реалистом, в сущности, только в последние годы. Жизнь, как она есть, в подлинной реальности — дана у него только в последних рассказах — в «Ералаше». Раньше — прикрашенные, может быть и очень красиво, но не живые, не настоящие, а романтизированные босяки; раньше — тенденциозный период.

Чехов первый поставил лозунг чистой литературы, чистого неприкладного искусства. «Я не либерал, не постепеновец, не консерватор, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником. Я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Форму и ярлык я считаю предрассудком. Моя святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь...»

У реалистов, по крайней мере, у старших, — есть религия и есть Бог. Эта религия — земля, и этот Бог — человек. Замечательное совпадение Горького и Чехова. «Человек — вот правда. В этом все начала и все концы. Все в человеке и все для

человека. Существует только человек» (Горький). «Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, выше всего существующего в природе даже выше того, что непонятно и кажется духом. Мы — высшие существа и если бы познали в самом деле всю силу человеческого гения — мы стали бы как боги» (Чехов).

В творчестве Чехова искусство изображения быта, изображения земли достигло вершины. Уже дальше, как будто, некуда и идти.

Но дальше случилось то же самое, что около этого же времени случилось в области техники. Техника железнодорожного сообщения достигла высокой степени, поезда стали ходить сто пятьдесят — двести верст в час. Но человечеству оказалось этого мало — оно поднялось от земли и стало летать на аэропланах по воздуху. Пусть первые аэропланы были неуклюжи, пусть кувыркались на землю — но это была революция в развитии способов передвижения — это был шаг вперед.

В начале XX века русская литература очень решительно отделилась от земли: появились так называемые символисты. Вспомните то, что я раньше говорил о диалектическом методе развития и вспомните этот самый грубый пример относительно Адама. Сперва развивалось тело, — земля, быт, — развилось до конца. Теперь начинает развиваться Дух; начинает развиваться начало противоположное, революционное по отношению к телесности, земле.

Начало — еще в Чехове. Затем — Андреев.

Символисты — Федор Сологуб, А. Белый, Гиппиус, Блок, Брюсов, Бальмонт, Андреев, Чулков, Вячеслав Иванов, Минский, Волошин — определенно враждебны земле, быту. «Какой быт? Нет никакого быта. Завязаны все завязки и развязаны все развязки. Есть только одна вечная трагедия — Любовь и Смерть — и только она одна одевается в разные одежды». «Быть с людьми — какое бремя».

У Сологуба в его романе «Навь чары» и в целом ряде других его вещей всегда рядом два образа: Альдонса и Дульцинея; Альдонса — бабища румяная и дебелая, это — грубая земля, ненавистная писателю; и Дульцинея — прекрасная и нежная,

это воздух, мечта, которой Сологуб живет и которой нет на земле. Стихи Александра Блока — целые тома его стихов — об одном: о Незнакомке, о Прекрасной Даме, о Снежной Деве. И это, в сущности, то же самое, что Дульцинея Сологуба. Блок ищет свою Прекрасную Даму по всей земле, и кажется — уже вот нашел. Но приподнимет покрывало — оказывается не Она, не Прекрасная Дама. Прекрасной Дамы Блока не найти на земле. И у Сологуба, и у Блока речь идет, конечно, не только о женщине-Дульцинее и о женщине — Прекрасной Даме: разочарования в Дульцинее, невозможность найти Прекрасную Даму — иносказательно, символически изображают собою судьбу всякого достижения, всякого идеала на земле. Кто видел высокие горы — знает: издали — на вершине горы облака и розовые, и золотые, красоты неописанной, а на вершину, в самые облака влезешь — туман и больше ничего.

Итак, на земле — символисты не находят разрешения вопросов, разрешения трагедии и ищут его в надземных пространствах. Отсюда у них — религиозность. Но, естественно, их Бог уже не человек, а высшее существо. У одних «этот Бог со знаком «плюс», Ариман, Христос, у других со знаком «минус», Ормузд, Дьявол, Люцифер (Сологуб, Волошин). Мистика. Мостик к романтике.

О писателях-реалистах я говорил, что у них — все было на земле или могло быть. Символисты взяли предметом своего творчества то, чего нет на земле, то, чего не может быть на земле. О писателях-реалистах я говорил, что у них в руках — зеркало; о писателях-символистах можно сказать, что у них в руках — рентгеновский аппарат. Кто во время войны бывал в лазаретах, тому случилось видеть: раненого ставят перед натянутым полотном, освещают рентгеновскими лучами, чудодейственные лучи проходят сквозь тело — и на полотне появляется человеческий скелет, и где-нибудь между ребер темное пятнышко — пуля. Так и символисты в своих произведениях смотрели сквозь телесную жизнь — и видели скелет жизни, символ жизни — и одновременно символ смерти. У кого глаза устроены так, что он всегда видит скелет — тому невесело.

Оттого у писателей-символистов мы не находим уже той бодрости, юмора, какие есть у Горького, Чехова, Куприна. Нет у символистов того активного отрицания жизни во имя борьбы с нею, во имя создания лучшей жизни на земле: символисты не верят в счастье на земле.

То, что избрали предметом своего творчества символисты, как вы видите, гораздо труднее изобразить, чем просто, не мудрствуя лукаво, какой-нибудь захолустный городок Окуров, или поручика Ромашева, или няньку Варьку, которая укачивает ребенка и валится с ног — спать хочется. Вот это та трудность тем, трудность изображаемого — заставила писателей-символистов искать новых способов изображения, заставила их гораздо больше работать над внешностью, над формой произведения, чем это приходилось писателям-реалистам. Вы хорошо знаете по себе — самые сложные чувства вызывает в нас музыка — такие чувства, что иной раз никакими словами их не опишешь. Как раз о таких сложных чувствах приходилось писать и символистам, и никакого другого способа у них не было, как изображать чувства, вызываемые музыкой, — посредством музыки слова. Словами стали пользоваться, как музыкой, слова стали настраивать, как музыкальный инструмент.

В этом изощрении формы произведений, в усовершенствовании мастерства самой техники писательства — громадная и основная заслуга символистов. У прежних писателей — у Пушкина, у Лермонтова, у Тютчева — можно отыскать следы таких же приемов. Но прежние писатели пользовались этими способами изображения случайно, стихийно. Писатели-символисты — овладели стихией, они создали науку музыки слова.

Теперь я еще раз возвращаю ваше внимание к тому, что я называл диалектическим путем развития. Вспомните: вот какое-нибудь явление, оно развивается до крайних пределов, использует все свои возможности, создает высшее что может — и останавливается.

Тогда возникает противоположная, враждебная сила, тоже разворачивается до конца — дальше идти некуда — останавливается. И тут из двух враждебных явлений рождается третье, пользуясь результатами, достигнутыми первыми двумя явлениями, как-то их примиряет, и жизнь человеческого общества или искусства получает возможность двигаться дальше, все вперед, все к новому.

Символисты сделали свое дело в развитии литературы — и на смену им, во втором десятилетии XX века, пришли неореалисты, принявшие в наследство черты как прежних реалистов, так и черты символистов.

К этому литературному течению относятся: Андрей Белый, ногами стоящий еще где-то на платформе символизма, но головой уже вросший в новореализм; в отдельных вещах — Федор Сологуб; Алексей Ремизов, Иван Новиков, Сергеев-Ценский, Михаил Пришвин, Ал. Толстой, Шмелев, Тренев. К этому же течению принадлежу и я, и потому мне и легче, и труднее будет говорить о нем. Как на последнем литературном течении, еще молодом, еще не исчерпавшем себя до конца и уже завоевавшем признание критиков — я остановлюсь на неореалистах подробнее. Из поэтов к этому течению относятся — Клюев, Есенин, Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Городецкий, Зенкевич.

Помните — о символистах я говорил: у них — рентгеновский прибор, их глаза устроены так, что сквозь материальное тело жизни они видят ее скелет. И вот представьте себе ученого, который только что открыл эти самые рентгеновские лучи: открытие должно так поразить его, что он целые годы — посмотрит на человека и увидит скелет, а мускулов, тела, цвета лица — он не в состоянии будет заметить (или вот: студент-медик первого курса только что начал работать в анатомическом театре — резать мертвецов. Первые месяцы ему всюду будут мерещиться отрезанные руки и ноги, с ободранной кожей, с сеткой синих жил — и будет мерещиться запах анатомического театра. А потом — глядь, уж привык, вернулся домой из анатомического театра — с аппетитом пообедает). И этот ученый, изобретатель рентгеновских лучей, привыкнет со

временем, и при взгляде на женщину — увидит не только скелет, а пожалуй и то, что скелет украшен золотыми волосами, синими глазами.

Так случилось и с писателями новореалистами. Они выросли, несомненно, под влиянием символистов. Они питались сладкой горечью Гиппиус, Блока. Но эта горечь не убила их для земли, для тела, как убила символистов: эта горечь была для них только предохранительной прививкой.

Вы помните пример: облака на вершине высокой горы. Писатели-реалисты принимали облака так, как они видели: розовые, золотые — или грозовые, черные. Писатели-символисты имели мужество взобраться на вершину и убедиться, что нет ни розовых, ни золотых, а только один туман, слякоть. Писатели новореалисты были на вершине вместе с символистами и видели, что облака — туман. Но спустившись с горы — они имели мужество сказать: «Пусть туман — все-таки весело».

И вот в произведениях писателей неореалистов мы снова находим действительное, активное отрицание жизни во имя борьбы за лучшую жизнь. Мы слышим смех, юмор Гоголя, Горького, Чехова. У каждого из неореалистов этот смех разный, свой, но у каждого он слышен. Вот преподаватель гимназии Передонов из Сологубовского романа «Мелкий бес»: чтобы напакостить квартирной хозяйке — всякий раз, как остается один в комнате, с остервенением оплевывает и пачкает стены. Это злой, убивающий смех. У Ремизова — Ионыч в рассказе «Жизнь неслетельная» — пьяный — мальчишки украли штаны — в багажной корзинке переживает всю жизнь...

Это смех человека, умеющего смеяться от нестерпимой боли и сквозь нестерпимую боль. Или в последнем рассказе Пришвина купец повествует, как он уезжал теперь из Питера: «Ну, что ж, все слава Богу: билет в руках, за десять рублей солдат мне окно в вагоне вышиб — влез, все слава Богу ...». Это смех человека, еще не потерявшего жизнерадостность. (Или у четвертого автора: офицеры в офицерском собрании, в захолустной дыре, пьют и поют: «У попа была собака»... Это смех — жуткий, кошмарный).

Юмор, смех — свойство живого, здорового человека, имеющего мужество и силу жить. В этом свойстве — радость прежних реалистов и новореалистов — и отличие новореалистов от писателей символистов: у символистов вы увидите улыбку, презрительную улыбку по адресу презренной земли, но никогда не услышите смеха.

Вы смеетесь над своим противником: это знак, что противник вам уже не страшен, что вы чувствуете себя сильнее его, это уже знак победы. Мы слышим смех в произведениях неореалистов, и это говорит нам, что они как-то одолели, переварили вечного врага — жизнь. Это говорит, что мы имеем дело с литературным поколением более здоровым и сильным, чем символисты. Реалисты жили в жизни; символисты имели мужество уйти от жизни; новореалисты имели мужество вернуться к жизни.

Но они вернулись к жизни, может быть, слишком знающими, слишком мудрыми. И оттого у большинства из них нет религии. Есть два способа преодолеть трагедию жизни: религия или ирония. Неореалисты избрали второй способ. Они не верят ни в Бога, ни в человека.

Но вернувшись к жизни, неореалисты стали изображать ее иначе, чем это делали реалисты. И чтобы дать понятие об этой разнице, я сначала вам приведу пример.

Не приходилось ли вам рассматривать в микроскоп маленький кусочек своей собственной кожи? Если придется, то, вероятно, в первый момент вам будет жутко — во всяком случае вам, слушательницы: вместо вашей розовой, нежной и гладкой кожи вы увидите какие-то расселины, громаднейшие бугры, ямы; из ям тянется что-то толщиной с молодую липку — волос; рядом здоровенная глыба земли — пылинка...

То, что увидите, будет очень мало похоже на привычный вид кожи, и покажется неправдоподобным, кошмарным. Теперь задайте себе вопрос: что же есть более настоящее, что же есть более реальное — вот эта ли гладкая, розовая кожа — или эта, с буграми и расселинами? Подумавши, мы должны будем сказать: настоящее, реальнее вот эта самая неправдоподобная кожа, какую мы видим через микроскоп.

Вы понимаете теперь, что кажущаяся с первого взгляда неправдоподобность, кошмарность — открывает собой истинную сущность вещи, ее реальность больше, чем правдоподобность. Недаром же Достоевский, кажется, в романе «Бесы» сказал: «Настоящая правда — всегда неправдоподобна».

Так вот: реалисты — изображали, кажущуюся, видимую простым глазом реальность; неореалисты чаще всего изображают иную, подлинную реальность, скрытую за поверхностью жизни так, как подлинное строение человеческой кожи скрыто от невооруженного глаза.

Вот почему в произведениях неореалистов изображение мира и людей часто поражает преувеличенностью, уродливостью, фантастикой. Тот самый Передонов, о котором я упомянул раньше — оплеывающий и пачкающий стены своей комнаты, — это преувеличение, это, пожалуй, неправдоподобно, но зато передает обывательский, мелочно-злой характер Передонова лучше, чем страницы реалистического описания его характера. Передонову всюду мерещится какая-то нечисть, серенькое что-то — не то клубок пыли, не то чертячий щенок. Это серенькое всюду за ним гоняется, сторожит, — и Передонов все время чувствует сзади эту нечисть, отрешивается. Никакой такой штуки на самом деле и быть не могло, это неправдоподобно, но это сделано автором, чтобы дать читателю настроение человека, живущего в вечной атмосфере сплетен, подглядывания, подслушивания, пересудов прежнего русского уездного городка. И это достигает цели.

Или вот еще пример — в романе Андрея Белого «Петербург». Тут главное действующее лицо — недоброй памяти обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев — в романе он называется сенатор Аполлон Аполлонович. Так вот, у Аполлона Аполлоновича карета какой-то особенной геометрической формы, формы правильного куба, такая же геометрическая, кубическая у него комната. На самом деле, конечно, у Победоносцева и карета самой обыкновенной формы, и комната — обыкновенная. Но этим подчеркиванием, в сущности,

неправдоподобной кубичности автор дает правильное и навсегда запоминающееся впечатление необычайной канцелярской точности, аккуратности, буквоедства Победоносцева.

Или из третьего автора. Надо описать двойственный, двуличный характер адвоката Семена Семеныча Моргунова. Автор делает это так: «Семен Семеныч моргал глазами постоянно: морг, морг — совестился глаз своих. Да что глаза: он и весь подмаргивал. Как пойдет по улице да начнет на левую ногу припадать — как есть весь, всем своим существом подмаргивает». Тут опять автор пользуется приемом преувеличения: конечно, весь, всем телом адвокат не подмаргивал. Но впечатление от идущего по улице и прихрамывающего адвоката было именно такое: весь подмаргивал. И передавая это свое впечатление, автор, не говоря ни единого слова о двуличности Моргунова, сразу рисует человека прехитрого, себе на уме.

Когда я вам читал последний отрывок — обратили ли вы внимание, что автор, пользуясь сравнением, нигде не говорит «как», «словно», «как будто», а прямо: «Семен Семеныч и весь подмаргивал. Как пойдет по улице — всем своим существом подмаргивает».

Прежний реалист непременно сказал бы осторожно: «Семен Семеныч как б у д т о весь подмаргивал». Неореалист совершенно покоряется впечатлению, совершенно в е р и т в т о , что Семен Семеныч весь подмаргивал. Новореалисту это уже не кажется, для него это не «как будто», а реальность. И вот этой верой в впечатление автор заражает читателя. Образ становится смелей, дерзче, выпуклей. Эта манера писания называется импрессионизмом, от французского *impression*, впечатление. Прием этот для новореалистов очень характерен.

Чтобы запечатлеть его в вашей памяти — я приведу еще несколько примеров. Вот три строчки из стихотворения:

*Вдали лежала мать больна,
Над ней склонялась все печальней
Её сиделка — тишина.*

Реалист сказал бы... Новореалист совершенно верит своему впечатлению, что тишина — сиделка, и напечатлевает смелый и яркий образ.

Или вот еще образец из повести Сергеева-Ценского «Лесная топь».

«Ходило кругом лесное и развешивало занавески из речного тумана над далью и перетаскивало эту даль сюда, вплотную».

Впечатление сумерек, когда даль все больше скрывается за туманом, когда горизонт все суживается, мир стенами подступает все ближе — автор передает так: «даль перетаскивало сюда, вплотную». Никаких «казалось», никаких «как будто» — и это только сильнее убеждает, навязывает неправдоподобный как будто образ.

Вспомните теперь, что говорилось раньше об изображении жизни символистами. У них — действующие лица: Некто в Сером, Человек с прописной буквы...

Или у Сологуба, у которого много написано в духе символистов — у Сологуба в романе «Навыи чары» какие-то неопределенные, неясные «тихие мальчики» в школе профессора Триродова. Или у Блока: Прекрасная Дама, Незнакомка, Снежная Дева. Тут всюду — намеренная неясность и смутность изображения, намеренная неопределенность места действия, намеренное прикрытие туманом действующих лиц.

У новореалистов — действие происходит в Петербурге; или в Бурковском доме на Таврической улице (в «Крестовых сестрах» Ремизова); или в городе — Алатыре, в городе Крутогорске. Действующие лица: преподаватель гимназии Передонов у Сологуба; сенатор Аполлон Аполлонович у Белого; чиновник Марекулин — у Ремизова и так далее.

У новореалистов, в противоположность символистам, действующие лица — преувеличенно выпуклы, скульптурны; краски — преувеличенно режущие яркие. Вот наудачу два-три примера.

В стихотворении Городецкого «Яга» описываются три брата:

*Как первый — черноокий, а щеки-то заря,
Второй голубоглазый, а волосы — ни зги,
А третий желто-рыжий, солома и кумач.*

Или в стихотворении Ахматовой: *«Небо ярче синего фаянса»*.

Жизнь больших городов похожа на жизнь фабрик: она обезличивает, делает людей какими-то одинаковыми, машинными! И вот, в стремлении дать возможно более яркие образы многие из новореалистов обратились от большого города в глушь, в провинцию, в деревню, на окраины. Все действие Сологубовского романа «Мелкий бес» происходит в уездной глуши. Большая часть необычайных происшествий, чудес, анекдотов, творящихся с героями Ремизова, случились в захолустьях. Алексей Толстой избирает своей специальностью изображение российских степных дикарей-помещиков. У Бунина целые томы посвящены деревне. В стихах поэта Николая Клюева — Олонецкие скиты, старообрядцы, скитники, старцы, избяная, ржаная Русь.

Тут неореалисты находят не только быт — но быт сконцентрированный устоявшийся веками, крепчайший, девяностоградусный.

Скажу короче: материал для творчества у неореалистов тот же, что у реалистов: жизнь, земля, камень, все имеющее меру и вес. Но пользуясь этим материалом, неореалисты изображают главным образом то, что пытались изобразить символисты, дают обобщение, символы.

Леонид Андреев называет действующих лиц в «Жизни Человека» — Человек, Жена Человека, Друзья Человека, Враги Человека для того, чтобы заставить читателя задуматься о человеческой жизни вообще.

Теперь возьмите неореалиста Ремизова. Вот у него в «Крестовых сестрах» Бурковский дом. Из окна глядит вниз чиновник Маракулин, и внизу на дворе катается, поддыхает кошка Мурка: кошку Мурку кто-то обкормил хлебными шариками с толченым стеклом. Визжит и катается кошка Мурка — и Маракулину весь свет не мил, и пусть ничего бы не было, ни вот этого дома, ни электрического фонаря — только бы не визжала кошка Мурка. Речь о Маракулине и Мурке. Но так это написано,

что мысль читателя сразу переходит на всю Россию, обкормленную толченым стеклом и извивающуюся в муках, на весь мир, подышающий от плодов старой культуры.

Вы видите еще одну особенность неореалистов: они заставляют читателя приходить к обобщающим выводам, к символам, изображая совершенно реальные частности.

Теперь относительно языка, относительно искусства слова у неореалистов.

Ко времени появления неореалистов жизнь усложнилась, стала быстрее, лихорадочней, американизировалась — в особенности это касается больших городов, культурных центров, для которых больше всего и пишут писатели. В соответствии с этим новым характером жизни неореалисты научились писать сжатей, короче, отрывистей, чем это было у реалистов. Научились в десяти строках сказать то, что говорилось на целой странице. Научились содержание романа втискивать в рамки повести, рассказа. Учителем в этом отношении был Чехов, давший удивительные образцы сжатости письма.

О краткости — я буду говорить кратко, и напомним отрывок уже цитированного стиха Городецкого «Яга». Три брата: *Как первый — черноокий, а щетки-то заря, // Второй голубоглазый, а волосы — ни зги, // А третий желто-рыжий — солома и кумач.*

С целью той же самой экономии слов и с целью живее передать впечатление движения жизни неореалисты избегают давать отдельные описания места действия или героев. Неореалисты не рассказывают, а показывают, так что и к произведениям их больше подходило бы название не рассказы, а показы. Т е о р и я с к а з а . Ну, вот вам пример.

Два действующих лица: Иван Иванович, высокий, уж старый и седой, и Марья Петровна, коротенькая, маленького роста. Писатель реалист прежней школы — так бы начал: Иван Иванович был такой-то и такой-то, а Марья Петровна — такая-то.

Неореалист даст описание внешности героев каким-нибудь действием их: «Иван Иванович надевал пальто. Кряхтел, суставы скрипели, руки уж плохо слушались. Попросил Ма-

рю Петровну помочь. И чтобы Марья Петровна достала, Ивану Иванычу пришлось, как всегда, подогнуться...» Описания наружности героев тут не дано, но она ясно чувствуется между слов. Помните, еще: описание характера Семена Семеновича Моргунова: «Семен Семенович моргал постоянно: морг, морг — будто совестился глаз своих. Да что — глаза: он и весь подмаргивал. Как пойдет по улице да начнет на левую ногу припадать — как есть весь всем своим существом подмаргивает». Тут ни слова о хитрости, составляющей сущность характера Моргунова — тут дано действие, и в действии сразу, кратко — весь Моргунов, как живой.

Немного раньше я говорил вам, что неореалисты в поисках за ярким, красочным бытом пошли в глушь, в деревню. Это наложило особый отпечаток на язык многих из них. Язык неореалиста обогатился чисто народными выражениями и оборотами, местными словами, которые в литературе русской были дотоле неизвестны. В этом отношении особенно много сделал Ремизов. Из поэтов неореалистов, много работавших над своим запасом слов, упомяну Городецкого, Алексея Толстого, Клюева, Есенина.

Когда мы разбирали символистов, упоминалось, что им, ввиду особой трудности их тем, пришлось технику пользования словом разработать до совершенства и в том числе применять музыку слова. Этот способ изобретательности от символистов унаследовали и неореалисты. Нечего и говорить, что музыку слова мы найдем в стихах неореалистов. Гораздо интересней, что та же самая музыка слова, особенная настройка слов, заранее обдуманый подбор их, чтобы создать известное впечатление, мы найдем и в романах, и в рассказах некоторых неореалистов.

Техника музыкального построения слов слишком сложна, чтобы говорить о ней сейчас, а я просто дам вам понятие несколькими примерами.

Все в том же самом, уже упоминавшемся, романе Андрея Белого «Петербург», один из героев, некий Александр Ива-

ныч, проживал на чердаке. И вот однажды ночью — он в бреду, и в бреду ему кажется, что к нему по деревянной лестнице поднимается статуя Петра Великого — Медный всадник. Автор изображает это приблизительно так: «Перила скрипели. Громыхали по дереву шпоры Петра. И в черепе Александра Иваныча все быстрее вращались красные круги. И Александр Иваныч узрел: шпоры, и раструбы сюртука Петрова, и страшные руки...» Вы слышите: здесь все время звуки ра, ро, ру, ры. Специально подобраны грохочущие слова, и этими словами особенно ярко передано впечатление медной статуи с грохотом шагающей по деревянной лестнице.

Или вот из другого автора: «На Михайлов день снег повалил. Как хлынули белые хлопья — так и утихло все. Тихим колобком белым лай собачий плывет. Молча молятся за людей старицы-сосны в клобуках белых» ... Тут вы слышите повторение звуков хл, кл. Этим дается впечатление хлопьев, падающих, кружащихся хлопьев снега.

Я сказал все, что хотел сказать о реалистах, символистах и новореалистах, представляющих новейшие течения русской литературы. Вкратце я повторю свои выводы.

Развитие литературы шло диалектическим путем: развивалось явление, затем — его противоположность, и, наконец, — сочетание двух противоположных явлений.

У реалистов — земля, быт, то, что бывает, то, что могло быть на земле. Они — зеркало земли. У них — земная религия, человекобожие.

В противоположность реалистам, изображавшим тело жизни, быта — развилось течение символистов. Символисты давали в своих произведениях широкие, обобщающие символы жизни, то, что я называл скелетом жизни. Способ изображения у символистов был тоже — скелетный, бесплотный. Трудность тем заставила символистов до высокой степени развить технику слова. Для них типичен — религиозный мистицизм..

Из сочетания противоположных течений — реалистов и символистов — возникло течение новореалистов, течение антире-

лигиозное. Трагедия жизни — ирония. Неореалисты вернулись к изображению жизни, плоти, быта. Но пользуясь материалом таким же, как реалисты, то есть бытом, писатели неореалисты применяют этот материал главным образом для изображения той же стороны жизни, как и символисты. Типичные черты неореалистов: 1) кажущаяся неправдоподобность действующих лиц и событий, раскрывающая подлинную реальность (вспомните пример: человеческая кожа сквозь микроскоп); 2) передача образов и настроений одним каким-нибудь особенно характерным впечатлением, то есть пользование приемом импрессионизма; 3) определенность и резкая, часто преувеличенная яркость красок; 4) быт деревни, глуши, широкие отвлеченные обобщения — путем изображения бытовых мелочей; 5) сжатость языка; 6) показывание, а не рассказывание; 7) пользование народными, местными говорами; 8) пользование музыкой слова.

Обзор новейших течений литературы был бы неполон, если бы я не сказал ничего о так называемых футуристах, от латинского *futurum* — будущники.

Футуристы — течение еще позднее возникшее, чем неореалисты. Это несомненно поросль от писателей-символистов.

От символистов футуристы взяли идею, что слово — само по себе, отдельно взятое, и даже не только слово — отдельный звук, отдельная согласная или гласная вызывают в человеке некоторое представление. Идея эта имеет основания — и в правильном ее применении у символистов дала богатые результаты. Но футуристы развили эту идею до крайних пределов, до нелепости. Они рассуждали так: если слова и звуки сами по себе вызывают представления — нет надобности заботиться о том, чтобы слова были связаны какой-то общностью, нет надобности в логической связи, другими словами: нет никакой надобности в содержании — слова постоят сами за себя и произведут впечатление. Произведения, издаваемые на основании этой теории, то есть простой набор музыкально звучащих слов и звуков, годились бы для людей, если бы они были лишены мыслительного аппарата и были бы снабжены только ушами, да и, пожалуй, ушами совершеннее обычных человеческих.

До каких пределов доходили футуристы в своем пристрастии к крайним выводам, вы увидите из такого случая. На одном литературном вечере футуристов выходит поэт, говорит заглавие: «Поэма молчания». Затем стоит несколько минут, не говоря ни слова и сложивши вот так руки — и уходит. Вот и вся поэма.

В дальнейшем футуристы немножко отклонились от своих крайностей и стали создавать произведения более удобопонятные. У них можно отметить три особенности, кроме упомянутого уже пристрастия к звуковой стороне: это усиленное пользование приемом кратких, мгновенных впечатлений — которые я назвал выше импрессионизмом; погоня за необычностью слов и тем во что бы то ни стало; и, наконец, выбор тем преимущественно из жизни большого города, с его лихорадочным движением и мельканием.

Если футуристам удастся еще больше освободиться от своих детских болезней и сосредоточить внимание на одной черте — на изображении городской жизни, то может быть в будущем тем же самым диалектическим путем из сочетания новореалистов и футуристов получится новое жизнеспособное литературное течение. Пока что футуристы представляют собою только литературный курьез.

Из всей группы футуристов выделился серьезный и талантливый поэт Маяковский. И чтобы вы имели представление о футуризме в лучшем значении этого слова, я прочту вам одно стихотворение Маяковского, где вы найдете все типические черты: импрессионизм, доведенный до крайних пределов; необычность образов и усиленное пользование музыкой слова...

Мне осталось только несколько слов. Я хочу сказать, что я не настаиваю на том, что я безусловно правильно разделил писателей по направлениям и безусловно правильно описал каждое из направлений. Твердо установленных положений относительно новейшей литературы еще нет. Критики еще спорят. Я изложил свои мнения. Если они расходятся с другими — что же: я предпочитаю ошибаться по-своему, чем быть правым по-чужому.

Мне вспоминается одна индийская сказочка. Слепым предложили ощупать слона и потом рассказать, на что он похож, по их мнению. Один ощупал ухо и сказал, что слон похож на шнур; другой пощупал ногу и сказал, что слон похож на столб — только мягкий; третий пощупал хобот — и сказал что слон похож на колбасу. Это участь большинства литературных критиков: слишком большое явление представляет собой литература, чтобы охватить его сразу.

Быть может, и мне не удалось дать вам представление обо всем, о целом слоне: судить не мне. Если вышло так, то виноват не я, а виновата русская литература, ее сложность, ее ширина, ее богатый расцвет.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Проф. М. Новиков

Первые шаги в эмиграции*

В большинстве описаний русской эмиграции изображаются ужасы бегства, трудности устройства и бедственные условия жизни в чужой стране, опасности репатриации и прочее. Для полноты исторической картины я хочу поведать о своем отъезде из России и о первых шагах в эмиграции, которые протекали, наоборот, в исключительно благоприятной обстановке, несмотря на то, или, может быть, благодаря тому, что мои коллеги и я были подвергнуты насильственному изгнанию из пределов родной земли.

Неожиданным и непонятным актом в политике советской диктатуры явилась высылка в конце 1922 года за границу трех групп ученых и общественных деятелей из Москвы, Петрограда и Одессы.

Эта мера, хотя и проведенная на фоне сравнительно гуманного НЭПа, была столь необычной, что породила всевозможные кривотолки о причинах, ее вызвавших. Высказывалось, между прочим, соображение о том, что большевики подобрали для высылки такой состав представителей интеллигенции, который мог бы внести разложение в русскую эмигрантскую среду. Говорили даже о том, что некоторым из них советская власть

* Автор помещенных ниже воспоминаний — последний свободно избранный ректор Московского университета. — Р е д .

якобы дала соответствующие поручения. Такую нелепую и для высланных лиц глубоко оскорбительную сплетню необходимо самым решительным образом опровергнуть. Это не трудно. Достаточно лишь просмотреть список подвергшихся высылке. В моей памяти наиболее отчетливо сохранились имена моих московских спутников. Всё это были люди безукоризненной политической репутации, почтенные и заслуженные представители различных областей знания.

Большинство имен относится к области гуманитарных наук, в особенности философии, столь ненавидимой большевиками. Были высланы: философы Бердяев, Франк, Карсавин, И. А. Ильин, Вышеславцев; историк Кизеветтер; экономист А. А. Чупров; представители других гуманитарных наук — кн. Трубецкой, Абрикосов, Кузьмин-Караваев; профессора естествознания и техники — Зворыкин, В. В. Стратонов, Ясинский; председатель Московского Сельскохозяйственного общества А. И. Угрюмов; кооператоры Изюмов и Озерецковский.

Члены группы, ныне почти все уже скончавшиеся, объединились во время путешествия крепкими дружескими связями, которые поддерживались и в дальнейшей эмигрантской жизни.

Мне кажется, что высокая моральная и политическая добропорядочность колола глаза большевикам, еще не освоившимся со своей диктаторской беспринципностью, и послужила поводом к удалению «нежелательных элементов».

Но положительная сторона нашей высылки не ограничивалась лишь нашими дружескими связями. Вся поездка носила благоприятный характер. Германское посольство, которое явно не сочувствовало большевистскому мероприятию, обещало нам перед отъездом поддержку берлинских властей. А советская власть оставила нас на свободе, и лишь петроградским коллегам пришлось провести перед отъездом несколько дней в тюрьме.

Когда мы с дорожными сундуками и объемистыми чемоданами подъехали в назначенный день к вокзалу, там не оказалось никакой видимой охраны, и мы разместились со своими семьями в предоставленных нам вагонах, как нормальные путешественники. На перроне собралась большая толпа провожавших, —

преимущественно учащейся молодежи, — которые трогательно прощались с нами. Все надеялись, что наша высылка не будет продолжительной и что с водворением новых порядков мы скоро вернемся на родину.

По прибытии в Петроград, мы переночевали в гостинице и на следующий день погрузились на немецкий пароход, отправлявшийся в Штеттин. Лишь у последнего маяка, перед выходом в открытое море, увидели мы трех чекистов, покидавших наш пароход. Это был момент нашего бурного ликования. Мы уходили от докучного полицейского надзора и от страшных преследований, непрестанно грозивших нам на родине. Вместе с необозримыми морскими далями перед нами открывался свободный мир и возможность вести культурную работу без цензурных ограничений.

По мере приближения к Штеттину наше настроение все повышалось и вылилось, наконец, в ожидание, что на пристани нас будут встречать представители германской общественности и науки. Ввиду этого обстоятельства С. Л. Франку, безукоризненно владевшему немецким языком, было поручено подготовить соответствующую благодарственную речь. Но ожидание оказалось напрасным. Ни на пристани, ни на берлинском вокзале никто нас не приветствовал. В последующие дни нам самим пришлось изыскивать себе протекцию.

В этом отношении мы оказались более счастливыми. В Обществе по изучению Востока нас приняли очень приветливо, и когда у нас зародилась мысль о создании в Берлине Русского научного института, не только помогли нам морально, но и посодествовали в исхлопатывании нужных для этого финансовых средств.

В скором времени институт был открыт в предоставленном ему прекрасном помещении Академии. Главной задачей института было чтение лекций двоякого рода: для громадной в то время русской беженской колонии Берлина по всевозможным отраслям наук и искусств и на немецком языке — для ознакомления местных жителей с русской географией, историей, культурой. В первое время институт развил весьма широкую дея-

тельность. Но затем кривая этой деятельности начала загибаться книзу. Русская берлинская публика, занятая преимущественно торговыми делами, скоро потеряла вкус к лекциям, а немцы также не проявили большого интереса к академическому изучению соседнего государства. Политические же проблемы острого характера были исключены из программы института.

А когда несколько лет спустя главная масса русских берлинцев переселилась в другие места, главным образом, в Париж, деятельность института еще более ослабела. Но в сокращенном масштабе он все-таки продолжал свою работу вплоть до наступления гитлеризма.

Мое пребывание в Берлине было кратковременным. Я переехал в Гейдельберг, — место моего университетского образования, куда меня пригласили мои старые друзья. Правда, в среде тамошней профессуры оказались лица, в душе которых еще не остыл военный шовинизм и которые встретили меня недружелюбно, как своего недавнего военного неприятеля. Но посредничеством друзей добрые отношения были быстро восстановлены.

Интересно отметить, что существенную помощь при этом оказала жившая в то время в Баден-Бадене герцогиня Веймарская, традиционный друг Гейдельбергского университета, которая, уже в силу своего титула, пользовалась большим авторитетом в среде право-националистической профессуры. Вскоре после моего разговора с ней, в котором я сообщил ей все обстоятельства, связанные с моей высылкой из Советской России, ректор университета начал проявлять ко мне большое внимание; двое моих детей были зачислены студентами, а мне, совместно с моей старшей дочерью, было предложено заняться организацией биологического института и преподаванием в Народном университете. А затем я прочел в Научном обществе доклад о своих московских исследованиях над плодородием почвы и восстановил таким образом свое старое, прерванное войной, членство в обществе.

Лишь один из профессоров оказался совершенно непримиримым по отношению ко мне. Узнал я об этом совершенно случайно при следующих своеобразных обстоятельствах.

В Гейдельберге было устроено торжественное заседание в память недавно умершего перед тем, выдающегося математика из Кенигсберга. Он был известен как русофил, а в качестве декана председательствовал в свое время на моем докторском экзамене. Знавший все это председатель торжественного собрания проф. Саломон спросил меня перед началом заседания, не хочу ли я после окончания уже объявленной программы, сказать несколько слов от имени русской профессуры. Я, конечно, не отказался. Но когда я, по приглашению председателя, поднялся на кафедру и начал говорить, я заметил, что какой-то старичок нервным движением сорвался с места, схватив с вешалки пальто и шляпу, и быстрыми шагами вышел из аудитории. В моем мозгу мелькнула побочная мысль, что у него строгая жена, и он боится запоздать к обеду.

После собрания присутствовавшие как-то подчеркнуто благодарили меня за выступление, а на следующий день один из наиболее близких коллег выразил мне сожаление по поводу неуместного поведения проф. Ленарда, демонстративно ушедшего от моей речи. Тут я понял, что моя гипотеза о строгой жене была неосновательна. Проф. Ленард, выдающийся физик, Нобелевский лауреат, был отчаянным ретроградом, шовинистом и антисемитом. Он вел резкую полемику против Эйнштейна, задорный тон которой объяснялся тем, что его противник был еврей.

Будучи сам венгерского происхождения (он родился в Братиславе), Ленард признавал только все немецкое и ненавидел иностранцев. Презирал он также и республиканское управление Германии.

Однажды, еще до моего приезда в Гейдельберг, в день какого-то политического торжества, он распорядился, чтобы в физическом институте производилась нормальная будничная работа. Узнавшие об этом рабочие устроили перед институтом враждебную демонстрацию. А когда Ленард начал переругиваться с ними через открытое окно, они ворвались в институт, схватили профессора и повели по улице, угрожая утопить его в Некаре.

Появившаяся полиция была не в силах отбить пленника, но ей удалось уговорить рабочих поместить его в арестный дом, из которого он через некоторое время, когда рабочие сняли свои сторожевые посты, был выпущен на свободу. Проф. Ленард остался, кажется, моим единственным неприятелем в Гейдельберге. Но к нашему, по-видимому, взаимному удовлетворению, мы даже не были лично знакомы.

Мое, казалось бы, столь удачно налаженное пребывание в Гейдельберге, городе природных красот и старославной культурной традиции, было вскоре прервано новым, весьма приятным сюрпризом. Моя речь, произнесенная при открытии Русского научного института в Берлине, произвела на публику благоприятное впечатление, и я получил от писателя М. А. Осоргина, большого знатока и поклонника Италии, предложение принять участие в налаженной им лекционной поездке в Рим. Кроме него самого и писателя Бориса Константиновича Зайцева, долженствовавших познакомить итальянцев с современным состоянием русской беллетристики, и меня как представителя естественных наук, в поездке участвовали философы Н. А. Бердяев, С. Л. Франк и Б. П. Вышеславцев, а также экономист А. А. Чупров.

Экскурсия проходила под покровительством итальянского общества для изучения Восточной Европы (Istituto del Europa orientale), которое прекрасно обставило ее материальную сторону. Каждому участнику было выдано четыре тысячи лир, с условием, однако, истратить всю сумму на итальянской территории. Это обстоятельство вызывалось валютными затруднениями Италии, нам же давало возможность повидать, кроме Рима, и другие города прекрасной страны.

Я посетил своих старых знакомцев: меланхолическую Венецию, оригинальная, бледно-мертвенная красота которой порождает какое-то томительное, но в то же время сладостное ощущение; оживленно деловой Милан с изумительным мраморным кружевом его собора, на самой верхней башне которого я нашел свою подпись, сделанную еще перед войной; Геную с ее

колоссальной гаванью, с ее чудесными старинными дворцами и с кладбищем, представляющим собой великолепный музей скульптурных красот.

Далее, по дороге в Рим, я ознакомился с удивительными художественными сокровищами Флоренции, в которой я задержался на несколько дней. Особенно сильное и своеобразное впечатление произвел на меня бывший монастырь, а ныне музей на холме Фиезоли. Монах этого монастыря, живший в конце XIV и в первой половине XV века, знаменитый прерафаэлит Beato Fra Angelico украсил все кельи монастыря чудесными фресками. Меня поразила какая-то степень сходства между этими фресками и иконами нашего Андрея Рублева, северного современника итальянского мастера, несмотря на то, что последний был представителем раннего Ренессанса, а Рублев писал в византийском стиле.

С глубоким волнением, ранним утром, через болотистую Кампанию, одетую клубящимся туманом, приближался я к вечному городу, в котором гармонически сочетается все то, что в других городах Италии можно наблюдать лишь по отдельности: античный мир с величественным Колизеем, с термами Каракаллы, превращенными в музей, с очаровательными развалинами форума; далее, начало христианства с Аппиевой дорогой и катакомбами, затем чудесные средневековые храмы и памятники Ренессанса и, наконец, современную культуру большого города с его резкою шумливостью, особенно присущею итальянскому народу.

Мне трудно передавать здесь незабываемые, но затушевавшиеся временем впечатления от собора св. Петра, от замка Ангела, от художественных сокровищ, от архитектурных красот и знаменитых фонтанов Рима. Все это к тому же достаточно часто и подробно описывалось. Посетили мы, между прочим, и кофейню, в которой бывал завсегдатаем Гоголь, и полюбовались на висевший там портрет нашего великого соотечественника.

В Риме мы были встречены очень приветливо. Душой Восточного института, а следовательно, и нашего приема оказался милейший профессор Этторе Ло Гатто, секретарь института,

который прекрасно говорил по-русски. Мы его быстро переименовали по русскому обычаю в Гектора Домениковича, или даже в Гектора Воскресеньевича. Он был женат на русской, и его прелестная маленькая дочка воспитывалась в русском духе. Свообразно приятное чувство испытывали мы, сидя за русским самоваром у него на квартире в Риме, построенном, как и Москва, на семи холмах.

Познакомившись с итальянцами поближе, я получил впечатление, что в наших характерах есть много общего. Во всяком случае столь характерное для русских, отнюдь не чуждо и итальянскому народу.

Наши лекции на темы о русской культуре и жизни, прочитанные преимущественно на французском языке, имели большой успех и неизменно собирали обширную аудиторию избранной публики. Думаю, что наше пребывание в Риме внесло значительную долю в углубление взаимного понимания двух народов. С обеих сторон были при этом проявлены чувства живой симпатии.

Но и русская публика, проживавшая в Риме, широко откликнулась на наш приезд. Из встреч, особенно мне памятных, отмечу встречу с Ю. М. Рогаткиной-Ежиковой, женой крупного московского мехоторговца, в гостеприимном доме которого мы, группа профессоров Московского коммерческого института, часто задерживались на перепутьи по окончании факультетских заседаний. Земной шар показался мне действительно малым, когда я увидел ее среди своих слушателей, а после лекции мы ознаменовали нашу неожиданную встречу, но не традиционным в их московском доме шампанским, а более скромным и соответственным нашему беженскому положению — итальянским *asti spumante*.

В то время, когда мои спутники, представители гуманитарных знаний, детально изучали художественные сокровища Рима, о чем подробно писал Борис Зайцев в своей недавней статье в «Новом Русском Слове», я завязал научные связи с моими коллегами по естествознанию. Особенно памятно мне посещение Зоологического института. Его директор, если мне

не изменяет память, профессор Росси, встретил меня с исключительной любезностью и, осведомившись, на каком языке я желаю беседовать с ним, — итальянском, французском или немецком, начал показывать мне свой институт и знакомить с современным состоянием биологической науки в Италии. Мы с ним расстались добрыми друзьями.

Но особенно крепкая связь завязалась у меня с пожилым профессором медицины Синьорелли, одним из руководителей Восточного общества, женатым, как и Ло Гатто, на русской. Он увлекался в своей клинике новым, открытым им способом излечения легочного туберкулеза. Синьорелли использовал как средство лечения национальное итальянское блюдо — макароны. Он утверждал, что при обильном питании макаронами грудобрюшная преграда приподнимается, и деятельность кровеносной системы легких становится более интенсивной. Болезнь как бы вымывается кровью из легких. Он мне продемонстрировал несколько довольно убедительных клинических случаев, но у меня, как и у многих других, осталось скептическое отношение к этому чересчур простому, обыденному лечебному средству.

Однако в одном из недавно вышедших немецких медицинских журналов я нашел статью, трактующую об улучшении снабжения кровью легких, что достигается интенсивным развитием капиллярной сети, а следовательно и улучшением общего состояния легких. Таким образом, основная мысль врача — любителя макарон — оказывается не столь наивной, как это могло казаться с первого взгляда.

Из Рима я предпринял на оставшиеся у меня итальянские деньги интереснейшее путешествие в Неаполь. Этот город привлекал меня не только сказочной красотой своего расположения (*vedi Napoli e tiogi*), но и тем обстоятельством, что в нем находится приморская зоологическая станция, первая в Европе, а может быть и во всем мире, по богатству своего научного оборудования.

Станция была организована несколько десятков лет назад выдающимся немецким ученым, Антоном Дорном, по смерти

которого директорство над ней перешло по наследству к его сыну Рихарду, тоже зоологу по образованию. Интересно, что оба, отец и сын, были женаты на русских. Отец, если не ошибаюсь, на Барановской, а сын — на Живаго. Я не знал об этом и когда явился с визитом к Дорну на квартиру и был встречен его супругой, то, стыдясь за свой плохой итальянский язык, попросил у нее разрешения говорить по-немецки. На это она со смехом возразила: «Зачем же по-немецки, если мы оба русские!»

Но мое изумление достигло крайних пределов, когда во время нашего разговора из соседней комнаты раздалось восклицание: «А кажется, я слышу голос Михал Михальча». И к нам вошла Надежда Ивановна Живаго, двоюродная сестра хозяйки, хорошая знакомая нашей семьи, которая была в это время со своим маленьким сыном на пути из Москвы в Америку. А затем пришел с визитом наш общий знакомый, кн. С. М. Волконский, разносторонне образованный эстет и на редкость интересный собеседник, который также недавно приехал из Москвы. Подали чай, и у нас завязалась настоящая московская беседа, к которой охотно присоединился и вернувшийся домой Рихард Дорн. Он недурно говорил по-русски, но признался мне, что в русском языке он аналфabet, то есть не умеет ни читать, ни писать.

Зоологическая станция в то, еще непосредственно послевоенное время, была оккупирована итальянцами; во главе ее стоял профессор Монтичелли. В смысле научных работ она пребывала в почти бездеятельном состоянии. Моя надежда поработать на ней несколько дней и воочию ознакомиться с местной, чрезвычайно богатой морской фауной, не могла осуществиться.

Мне пришлось ограничиться осмотром великолепного палатко станции, расположенного на самом морском берегу, а главное, ее грандиозных аквариумов, которые и тогда поддерживались в полном порядке, представляя собой одну из важнейших достопримечательностей Неаполя. Впоследствии Рихард Дорн восстановил свои наследственные права на станцию и снова стал ее директором.

Я не предпринял традиционного, но дорого стоящего восхождения на Везувий. Лишь издалека я полюбовался его геометрически правильными очертаниями, свойственными вулканическим образованиям вообще, и пиниеобразным облаком, почти постоянно стоящим над его кратером. Но я посетил его жертвы, погребенные при извержении семьдесят девятого года и недавно основательно откопанные — античные города Помпею и Геркуланум.

Я ходил по высоким тротуарам Помпеи, между которыми залегает дорога, вымощенная крупнейшими булыжниками. Езда по этой мостовой на колесницах напоминала, вероятно, езду по нашим деревенским ухабам, а может быть и превосходила ее своей тряскостью.

Но зато в домах, некоторые из которых оказались после раскопок почти в полной неприкосновенности, можно было наблюдать высокую степень классической культуры. В некоторых из них я с восторгом рассматривал чудесные фрески, сохранившие и до сих пор всю яркость типичных для помпейской живописи красок — черной и кирпично-красной. На всем городе, погибшем около девятнадцати столетий назад, на его грубых улицах, изящных домах, развалинах цирка и других общественных зданий ощущается меланхолическое веяние безжизненности, но в то же время и дыхание вечности.

Изящную обстановку помпейских жилищ можно видеть в великолепном неаполитанском музее. В нем, наряду с обычными музейными достопримечательностями, я осмотрел и знаменитую комнату, в которую допускаются лишь взрослые мужчины и в которой собраны статуэтки специфического содержания. На них была, по-видимому, большая мода на закате античного мира.

С госпожой Дорн и ее детьми я совершил интереснейшую экскурсию на вулканическое поле Сольфатара, расположенное в окрестности Неаполя (Pozzuoli). Твердый слой почвы на этом поле так тонок, что местами она сотрясается под шагами идущих людей. А под ним находится полужидкая, черная магма. Стоит приблизить к земле зажженную спичку, и сейчас же поч-

ва начинает дымиться, выделяя сернистый газ. А в некоторых местах, как проруби во льду, зияют в земле отверстия, через которые видна черная, бурлящая масса. Зрелище, которое наполняет сердце непривычного человека содроганием. Кажется, что еще один момент, зыбкая почва под тобою расступится, и ты погрузишься в вечно кипящую смолу.

На краю этого бурлящего поля находится вход в «пещеру смерти», длинный подземный коридор, уходящий в гору. Здесь из-под почвы выделяется углекислый газ, который, будучи тяжелее воздуха, вытесняет его из нижней части пещеры. Если опустить вниз горящую свечку, она гаснет. Если человек ляжет на землю, он задыхается. Говорят, что некоторые, чересчур любознательные путешественники, особенно из категории просвещенных мореплавателей, приводят туда на привязи собак, чтобы наблюдать на них действие углекислоты.

Другая моя экскурсия в окрестности Неаполя была связана с гораздо более приятными переживаниями. Я посетил очаровательный остров Капри. Между прочим, когда наш пароход медленно подходил к нему, и публика стояла на палубе, любуясь развертывающейся перед глазами живописной панорамой, из находившейся поблизости лодки раздалось стройное пение «Стеньки Разина» на немецком языке под аккомпанемент гитары. Стоявший рядом со мной немец начал разъяснять своему соседу, что это — известная персидская песня о разбойнике, похитившем принцессу. Мне пришлось вступить в разговор и внести поправку, что вызвало комплименты по поводу русского музыкального искусства. После обеда, гуляя по острову, я встретился и разговорился с тремя певцами. Они оказались немецкими студентами, которые без денег отправились путешествовать по Италии и прокармливали себя пением.

Из живописно расположенных на возвышенных частях острова городков Капри и Антикапри можно пробраться на вершину острова, откуда открывается величественный вид на безграничные просторы Лазурного моря. Там же находятся знаменитые развалины виллы императора Тиберия. Все эти места

увлекательно описаны Акселем Мунте в его книге о Сан Микеле, получившей мировую известность...

Побывал я и в прославленном голубом гроте, расположенном на берегу острова. Проникнуть в него можно лишь на маленькой лодке через узкое отверстие в прибрежной скале. Но когда попадаешь туда, то испытываешь совершенно необыкновенное, сладостное ощущение. Густая синева итальянского неба какими-то невидимыми отверстиями так проникает в грот, что кристально-прозрачная вода окрашивается в чарующий голубой цвет, а весь воздух над ней кажется пронизанным тончайшей голубоватой дымкой. Когда покидаешь грот, то чудесная симфония южного неба и моря воспринимается уже как нечто будничное, обыкновенное.

Нагруженный богатством всех этих разнообразных, сказочно прекрасных впечатлений, я вернулся в Рим, где участники нашей поездки организовали благодарственный банкет гостеприимным ее устроителям. В речах были между прочим указаны некоторые черты сходства в характере русского и итальянского народов, а также отмечено то обстоятельство, что московский Кремль полон великолепными памятниками итальянского зодчества.

В последний день пребывания в Риме я накопил целую коллекцию прекрасных фотографий, изображающих античные статуи и картины из эпохи Ренессанса. А затем я ходил к знаменитому фонтану Треви и бросил в него несколько сольдо. Среди иностранцев, посещающих Рим, распространено поверье, что кто соблюдает этот обычай, тот еще раз вернется в вечный город. Усердными пропагандистами, а может быть и авторами этого поверья, являются ловкие уличные мальчуганы, которые ранними утрами вылавливают деньги из фонтана. Мне во всяком случае кажется, что мои сольдо пропали бесследно.

В сердечном сокрушении по поводу того, что итальянская поездка была так кинематографически мимолетна — она продолжалась всего около двух недель, — я отправился назад в Гейдельберг. Здесь меня ждал новый приятный сюрприз — письмо от

П. И. Новгородцева, который возглавлял в то время многочисленную русскую академическую группу, сосредоточенную в Праге. Павел Иванович приветствовал меня в новой роли странствующего профессора и предлагал переселиться в славянскую Прагу, где тогда развивалось большое русское культурное дело.

Выбор для меня был не труден. Ни мелкая сравнительно работа в Гейдельбергском народном университете, ни перспектива создания биологической лаборатории, все еще окончательно не выясненная, не могли задержать меня в Германии. В двадцать третьем году состоялся переезд всей нашей семьи в Чехословакию, где для меня началась длинная полоса жизни, тянувшаяся свыше двух десятилетий, полная творческой работы на академическом поприще.

До сих пор, в глубокой старости, насыщенный днями жизни и обремененный старческими немощами, я с наслаждением вспоминаю те изумительные картины природы, те гениальные произведения искусства и тех людей высокого духовного облика, которые, будто волшебством, появились передо мной, как только я, гонимый злой силой, покинул свою великую несчастную родину.

Но никогда успехи эмигрантской жизни не заслоняли собой печального облика страдающей отчизны. И часто, в моменты высокого духовного удовлетворения, этот облик рисовался перед духовными очами с особенно ярко подчеркнутой трагичностью.

Юрий Кротков

Пастернаки*

Борис Леонидович

Каков Пастернак?

В нем все естественно, как естественна русская природа где-либо в глубинах Сибири или Алтая, чуть суровая и истинная. Да, порой в его лице появлялось нечто суровое. И в этой суровости была печаль. В такие минуты лицо его напоминало врубелевского Демона. Мне всегда казалось, что лицо Пастернака было создано Врубелем, с присущей ему диспропорциональностью: выступающей нижней челюстью с удлинённой шеей, свинцово-матовым цветом волос.

В его облике совмещалось несовместимое: мгновенность и длительность. Суровость могла мгновенно исчезнуть, расплыться в мягкую доброту. Но где-то внутри, в своей непрерывной борьбе с сомнениями, колебаниями, соблазнами, она продолжала длительно жить, рождая прорывающуюся временами на поверхность печаль. И ничего не было в этом лице от королей и президентов. Ничего от мишуры и помпезности. Но в той же мере ничего и от патриархальности. Какое-то напряженно мощное оголение истинности в душе, без всякого стыда за оголение, без малейшего смущения за свое несоответствие общественной рутине, порядку, принятым обычаям и приличиям.

* Продолжение. Начало см. № 214 2005 год. — Р е д.

Пастернак умел сложно объяснять повседневное и повседневно объяснять сложное.

Недосягаемая высота духа и интеллекта сочеталась в нем с удивительной простотой в быту. В повседневной жизни он был рядом с людьми, мог жаловаться на свои зубы, а у него всю жизнь были затруднения с зубами, не стеснялся своего плоскостопия. Он жил одними с людьми горестями и радостями, порой обиденнейшими из обиденных. И этим он сохранял свою индивидуальность. Через малое восставало в нем великое. И самое примечательное во всем этом, что он таким образом прочно изолировал себя от мещанства, лицемерия, практицизма.

Правда, как у всякого живого человека, были и у Пастернака свои особенности и маленькие слабости. Борис Леонидович, например, терпеть не мог запаха чеснока. Однажды ему надо было съездить в Москву. Он сел в машину и сразу почувствовал, что шофер ел чеснок. Он тотчас же вылез из машины и поехал в Москву на электричке. И в то же время он с особым удовольствием ел прямо со сковородки, и одним из увлекательнейших занятий для него было соскабливать ножом подгорелые остатки пищи.

Борис Леонидович был по-настоящему добр. И, может быть, именно в силу этого в определенных ситуациях он впадал в состояние неудержимого гнева, проявлял решительность, смелость и твердую определенность суждений.

Когда, например, друг дома Пастернаков критик Виктор Гольцев, человек достаточно гибкий и верткий, приехал однажды в Переделкино и сказал Борису Леонидовичу, что арестован литературовед Борис Сучков, и что его обвиняют в том, что он «американский шпион», Пастернак нахмурился. Однако, когда Гольцев сказал, что по его мнению Сучков действительно «американский шпион», Пастернак вспыхнул и закричал:

— Он такой же американский шпион, как и ты! Вон из моего дома! Вон! Вон!

В здании ЦК КПСС, в кабинете Дмитрия Поликарпова Пастернак однажды заявил:

— Чем вы гарантируете мне, что все это не повторится вновь и что вы снова не зальете Россию кровью? Россия — не пред-

мет для экспериментов. Вам безразлична ее судьба, а для меня это — вопрос жизни...

Когда Зинаида Николаевна пыталась «защитить» Хрущева, Пастернак отвечал просто и лаконично:

— После смерти Сталина ничего не изменилось.

Таким же сильным, с несгибаемой волей становился Пастернак, когда дело касалось его веры и его творчества. Да, в Пастернаке была сила: в лице, глазах, даже в его движениях. Сила, идущая из сердца. Думается мне, что наиболее сильным он был, когда оставался один, в своей рабочей комнате, на втором этаже дачи, когда брался за перо.

Однако сам Пастернак ощущал себя иным. В письме к жене, например, он охарактеризовал себя так: «Я в ужасе от своего безволия и отсутствия характера. Живут своей собственной жизнью, по-настоящему и как хотят только люди с твердой волей. Остальные служат для них зрелищем и материалом для развлечений».

Особо следует сказать о конкретной любви Пастернака к земле. Работа на огороде, например, была для него завидным делом. Пастернак не упускал случая, чтобы не прикоснуться своими руками к земле, не поковыряться в ней, не взрастить плод. С легким стоном разгибая согнутую, усталую спину, ощущая, как ноют все мускулы, как в такие минуты кожа на ладонях становится шершавой и мозолистой, а глаза острыми и расчетливыми, он воспринимал природу по-особенному — ближе, осязательнее, роднее. Это восприятие дарило ему чувство полноты жизни, хозяйской гордости за плоды своих трудов.

В одном из писем жене в Чистополь, во время войны, Пастернак, живя в Переделкине и регулярно работая на огороде, писал: «Если бы ты знала, какая тут благодать. Белое, ясное, хотя и жаркое, но легкое для глаза, августовское или далее уже сентябрьское солнце, летают бабочки, цветут огурцы, кабачки, картошка. Дом пустой. Тихо и чисто! Обходя огород по пути на криницу за водой, я заметил три конские кучки и по твоему примеру перенесу их на самую тощую морковную грядку».

А в другом письме, говоря и о том, что является самым важным в жизни литератора, он пишет: «Я знаю, что ты трудишься

не покладая рук, и мне не стыдно, что я не могу перед тобой похвастаться, что я так же усердно вру и получаю деньги за печатные пошлости, как ты работаешь в столовой. Ты знаешь, что я бы с таким же упоением работал бы рядом с тобой за дворника, и что я со страстью и удачей тружусь над высокими материями вроде Гамлета, когда *творчество так же бесхитростно в своей силе, как топка печей или уход за огородом*.

В первые месяцы войны я случайно встретил Бориса Леонидовича в Москве на улице. Он сказал мне: «Я сижу в Переделкине, занимаюсь картошкой, это видимо, реально и очень приятно. А все остальное какое-то призрачное, смутное...».

Между прочим, о Москве тех дней Пастернак написал жене: «Москва так же далека от истинной тайны событий, как Чистополь, но зато Чистополь ближе к коровам, курам и лошадям, чего нельзя сказать о мертвой и по-глупому надутой Москве».

Что касается литературного творчества, трудоспособность Пастернака была неисчерпаемой. Как рассказывала Зинаида Николаевна (я об этом уже коротко упоминал), он вставал рано, делал гимнастику, плотно завтракал и садился за работу; перед обедом купался в холодной воде во дворе; после обеда короткий сон и снова работа до девяти — десяти часов вечера. А в последний год он работал по ночам. Зинаида Николаевна слышала его шаги в кабинете до двух — трех часов ночи...

Пастернака знали в Переделкине и во всей округе. Он хаживал в далекие места. Ежедневно он отправлялся на прогулку, и это длилось свыше двух часов. Нет, он не гулял в лесных чащах, вынашивая свои рифмы, он старался быть среди людей. Ему не надо было «изучать» и «отображать» их, ему надо было быть с ними. Он удивительно внимательно слушал их, прислушивался к ним, вслушивался не только в слова, но в музыку речи.

Он был далек от активности в ССП. Он не читал газет и в последнее время даже не слушал радио. Он был в стороне от всей этой шумихи, «показухи» и беспримерного человеческого лицемерия. Он не искал славы, а она приходила к нему сама.

Мне вспоминается, что делалось у входа в старое помещение клуба МГУ в Москве на улице Герцена, когда там до вой-

ны читал свой перевод «Гамлета» Пастернак. Студенты помились в двери, смяли контролеров. Зал был переполнен. То же было, когда Пастернак читал «Гамлета» в клубе писателей на улице Воровского. Слава ходила за Пастернаком по пятам, и это была подлинная слава.

Пастернак жил сердцем, до невиданных размеров раздвигая рамки своего внутреннего, духовного Я.

Пастернак сказал, что «Все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собой». Эти слова были девизом его жизни. И я бы поставил их эпитафией к его человеческому облику.

Он писал о главном, думал о главном, жил главным. Иначе он не мог.

Известие об аресте в 1934 году Осипа Манделъштама потрясло Пастернака. Они не были между собой дружны, напротив, их отношения определялись взаимной творческой неприязнью. Но несмотря на это, Пастернак, узнав о беде, немедленно помчался в редакцию газеты «Известия», к Бухарину, с которым у него были приличные отношения, и просил его о помощи.

Через несколько дней в коридоре коммунальной квартиры на Волхонке раздался телефонный звонок. Подошел кто-то из соседей. Мужской голос спросил Бориса Леонидовича Пастернака. Когда Пастернак взял трубку, он услышал слова, которые поначалу показались ему бредом: «Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин». И вот состоялся исторический разговор с «вождем». О нем много писалось. Сталин действительно поинтересовался мнением Пастернака о Манделъштаме и спросил, почему именно Пастернак берет его под защиту. По мнению Зинаиды Николаевны, Сталин узнал об этом от Бухарина и хотел якобы проверить этим звонком самого Бухарина. Верно и то, что Пастернак объяснил Сталину, почему он встал на защиту Манделъштама, и сказал, что здесь стоит не только вопрос о жизни талантливого поэта, но и всей советской литературы. В Москве существует остроумная версия о том, как закончился разговор с «вождем». По этой версии,

которую Зинаида Николаевна, к сожалению, не подтвердила, Пастернак предложил Сталину встретиться и поговорить.

— О чем? — спросил диктатор.

— Обо всем, — ответил Пастернак, — о жизни, о любви, о смерти.

Ответа не последовало. Собеседник положил трубку. После этого Пастернак сам позвонил в Кремль и спросил, как ему теперь быть, то есть можно ли говорить о том, что был телефонный звонок Сталина, ведь квартира коммунальная и соседи, вероятно, слышали, как Пастернак произносил «святые» слова «Иосиф Виссарионович». Если не сказать правды, они примут его, Пастернака, за сумасшедшего. Впрочем, сказал Пастернак, коли надо, он сохранит разговор в тайне. Из Кремля ответили, что это не существенно, и что Пастернак может поступать как ему хочется.

Разумеется, история эта стала известна в ССП. И отношение к Пастернаку в литературных кругах резко изменилось. Если до того его постоянно «прорабатывали», то теперь каждый из ортодоксов встречал его с улыбкой, пожимал руку, спрашивал о здоровье. Шутка ли, звонил сам Сталин!

— В ресторане клуба писателей нам даже открыли кредит... — оказала мне Зинаида Николаевна.

На совести у Пастернака его письмо в «Литературную газету», в котором он выразил сожаление по поводу кончины жены Сталина Аллилуевой. Это действительно достаточно загадочное письмо. Впрочем, этим письмом Пастернак оправдывал тот факт, что он не подписал коллективный некролог, составленный из обычных трафаретных фраз. И все же, в этом письме Пастернак сказал, что он *впервые* подумал о Сталине как *поэт*, как *художник*.

Нина Табидзе в одной из наших бесед говорила мне, что в жизни Пастернака был период некоего поворота к социалистической системе, к Сталину. По ее мнению, это началось вскоре после возвращения Пастернака из Парижа, после приступа депрессии. Было это только с Пастернаком? Я лично помню, что примерно в тот же период провозглашения Сталинской

конституции я как-то сидел у Табидзе с Ниточкой и Ниной. Из спальни вышел Тициан в мохнатом купальном халате, свежий, веселый. По радио передавали речь Сталина. Тициан, обращаясь ко мне, восторженно и, как мне показалось тогда, искренне сказал:

— Великий человек этот Сталин, а, Юрка? Смотри, какие дела творит...

По мнению Нины, «ориентация» Пастернака круто изменилась после начала массовых арестов, после самоубийства Паоло Яшвили, ареста Тициана и многих других. Следующий этап, по мнению Нины, наступил после встречи с Ивинской. В этот период Пастернак был явно настроен против Сталина. Кончилось тем, что в 1953 году, после смерти Сталина, находясь в Болшево в санатории, Борис Леонидович сказал жене:

— Умер страшный человек, человек, который залил Россию кровью.

В 1937 году Тухачевский, Якир, Эйдеман и другие были приговорены к расстрелу. Маститые из ССП немедленно написали свое «гневное одобрение», в полном соответствии с многочисленными «откликами», печатавшимися в те дни в газетах. «Одобрение» нуждалось и в подписи Пастернака. Когда к нему приехали в Переделкино с этим «документом», он вскипел и сказал: «Жизнью людей распоряжается государство, а не частные лица. Я ничего о них не знаю. Как я могу желать их смерти? Я им жизнь не давал, я им не судья. Я предпочитаю погибнуть в общей массе, с народом. Это, в конце концов, не контрамарки в театр подписывать».

Больше того, Пастернак, отказавшись подписать, немедленно поехал в Москву в ССП к Ставскому, который тогда был одним из руководителей ССП. Вернулся он, по свидетельству Зинаиды Николаевны, успокоенный.

Но то, что случилось на следующий день, было самым страшным. Кто-то принес Борису Леонидовичу «Правду» или «Литературную газету», где было напечатано «одобрение». Среди подписей была и подпись Пастернака. Он рыдал от отчаяния. «Они меня убили...» — сказал он. И тотчас же снова поехал в

Москву к Ставскому, который, оправдываясь, заявил, что произошла редакционная ошибка. Пастернак сказал, что «они» его «убили», а они его тогда несомненно спасли: если бы его подпись не появилась под этим «одобрением», следовало бы ожидать в ближайшем будущем ареста Пастернака.

В этот же период был арестован Пильняк. У него объявился в достаточной мере задолго до ареста приятель по имени Сережа, который дневал и ночевал у Пильняка на даче. Как-то Сережа увез Пильняка «на часок» на машине. И Пильняк больше не вернулся. Не вернулся, разумеется, и Сережа, оказавшийся, как позднее выяснилось, подставным лицом, агентом НКВД. Надо сказать, что Борис Пильняк относился к Пастернаку двойственно: то осуждал в нем его «изоляционизм», то считал это единственно приемлемой позицией для писателя в современных условиях.

Однажды к Пастернаку приехала Анна Ахматова. Она сообщила, что арестован ее муж Пунин, и просила у Бориса Леонидовича помощи, видимо, памятуя о его телефонном разговоре со Сталиным. Пастернак, ни минуты не колеблясь, сел и написал письмо Сталину. Затем отправился в Москву, в экспедицию Кремля и собственноручно опустил письмо в ящик для почты. И случилось поразительное: на следующий день Пунин был выпущен.

Как удар молнии, как крушение света было для Пастернака известие о самоубийстве Паоло Яшвили. И сразу же после этого, кажется Ираклий Андронников привез из Тбилиси сообщение об аресте Тициана. Пастернак был потрясен до самых сокровенных основ своей души. Но чем страшнее обрушивались на него новости, тем становился он тверже, решительнее, смелее. Его письмо к Тамарочке Яшвили, жене Паоло, написано кровью, написано «без оглядки», без малейшего признака страха. В этот же период началась регулярная денежная помощь Нине Табидзе, о которой, разумеется, властям было известно.

После всех этих страшных событий Борис Леонидович стал еще больше отходить от писателей, еще более замыкаясь в узком семейном кругу и продолжая дружить лишь с драматургом Александром Афиногеновым и Всеволодом Ивановым.

В семье Пастернаков наступила пора материальных затруднений. Зарботков было мало. Пастернака не печатали. Зинаида Николаевна вынуждена была заняться своим старым делом: перепиской нот, но это приносило небольшой доход. Пастернак переводил «Гамлета» для МХАТа. Но осуществить постановку «Гамлета» на сцене не удалось, так как актер Борис Ливанов по собственной инициативе, на одном из правительственных приемов, решил «посоветоваться» со Сталиным, который сказал ему, что «Гамлета» ставить не надо. Слава Богу, перевод был издан Гослитиздатом, что несколько улучшило положение Пастернаков.

По поводу того, почему Пастернак уцелел в период ежовщины, есть много различных мнений в России и на Западе. Но существует одно обстоятельство, о котором, пожалуй, не упоминалось. Дело в том, что Сталин любил Фадеева и доверял ему, а Фадеев очень любил Пастернака, что, разумеется, не мешало ему публично выступать против Пастернака. Не лишено вероятности предположение, что Фадеев, когда возникали опасные для Пастернака ситуации, защищал его перед Сталиным.

Кстати, отношения между Пастернаком и Фадеевым были чрезвычайно оригинальными и напоминали отношения между маленьким бедным Чарли Чаплиным и миллионером в кинофильме «Огни большого города». Как известно, миллионер в пьяном состоянии становился другом маленького Чарли, но, трезвея, не узнавал его.

Фадеев часто навещал Бориса Леонидовича. Он был любителем печеной картошки, и Зинаида Николаевна готовила ее специально для него. (Она симпатизировала Фадееву и Пастернак поэтому с легким сарказмом называл его «твой любимчик-Фадеев»). Под картошку Александр Александрович приносил водку. В пьяном виде он говорил Бог знает что. На следующий день Пастернак посылал ему на дачу, которая стояла почти рядом с их домом, записку примерно такого содержания: «Саша, ты у меня не был и ничего не говорил. Боря».

Но как-то случилось, что Стасика не пустили в Варшаву на конкурс Шопена и Зинаида Николаевна пошла к Фадееву по-

просить его помочь. Тот был совершенно трезв. Он холодно ответил: «Ты не знаешь, Зина, как нас со всех сторон обнюхивают перед выездом за границу». Зинаида Николаевна сказала: «Но ведь Стасик рос у тебя на глазах, как белый гриб». Фадеев возразил: «Нет, его с трех лет воспитывал Боря». Зинаида Николаевна вспыхнула от досады: «Поздравляю с этим открытием». И ушла.

С другой стороны, Фадеев перед возвращением Пастернака из эвакуации нанял людей и высадил у него в саду на даче шестнадцать яблонь, с тем, чтобы поселковый совет не отобрал землю. Все шестнадцать деревьев живы и по сей день. Он же распорядился о том, чтобы подняли урну с прахом Адика. Когда Пастернак приехал в Переделкино, Фадеев откровенно сказал ему:

— Эх, Боря, дела у тебя будут плохие...

Но вернемся назад. Вскоре после ежовщины началась война. Зинаида Николаевна эвакуировалась со Стасиком и Лёней в Чистополь. Женя был призван в армию. Борис Леонидович остался в Переделкине один с двумя домработницами, обе Маши. Он заботится о больном Адике. Работает на огороде, регулярно ездит в Москву «отовариваться» — получать по заборным книжкам продовольствие. Это его очень увлекает, так как эта деятельность — конкретная, реальная, от которой — самое главное — зависит благополучие его семьи.

Будучи членом ССП, он получает продовольствие по высшим нормам. Он собирает продовольствие, упаковывает в фанерные ящики и отправляет с оказией в Чистополь. Особенно его радует шоколад для детей и папиросы для жены.

Потом он поступает во Всевобуч, то есть в отряды, подготавливавшие бойцов для армии, и проходит строевую подготовку. Ему сильно мешает его плоскостопие, по причине которого он, кстати, не был мобилизован во время Первой мировой войны. Однажды он выехал с отрядом Всевобуча на специальные полигоны, где проводились стрельбы, и принял в них участие. Но в дальнейшем его из Всевобуча отчисляют, и он поступает в отряд самообороны, дежурит во время

воздушных налетов на крыше писательского дома в Лаврушинском переулке.

Страшным для Пастернака было известие о самоубийстве Марины Цветаевой в Елабуге.

По этому поводу он написал Зинаиде Николаевне в Чистополь:

«Я всегда знал в глубине души, что живу тобой и детьми, а заботу обо всех людях на свете, долг каждого, кто не животное, должен символизировать в лице Жени, Нины и Марины. Ах, зачем я от этого отступил...».

В этот же период Пастернак писал Зинаиде Николаевне и о другом:

«Сколько горя и зла кругом, какими горами катится человеческое разоренье, сколько счетов, друг друга перекрывающих, прячет за пазуху человеческое злопамятство, сколько десятилетий должно будет пройти в будущем на их погашенье. И потом усиливающаяся безысходность несносной, душевной несвободы. Делаешь что-то настоящее, вкладываешь в это свою мысль, индивидуальность, ответственность и душу. На рукописи ставят отметки, ее ищепряют вопросительными знаками, таращат глаза. В лучшем случае, если с сотней ограничений примут малую часть сделанного, тебе заплатят по пять рублей за строчку. А я за два дня нахлопал несколько страниц посредственнейших переводов для «литературки» («Литературная газета». — Ю. К.) из второстепенных латышей и грузинов без всякого труда и боли, и мне вдруг дали по десять рублей за строчку, за эту дребедень. Где же тут последовательность?»

...Как быть, к чему стремиться и чем жертвовать?

...Нельзя сказать, как я жажду победы России и как никаких других желаний не знаю. Но могу ли я желать победы тупоумию и долговечности пошлости и неправды.

...На даче пропасть клубники и почти столько же зенитных осколков от ночной пальбы.

...До того, как мною заинтересуются немцы, меня уморят голодом свои. Весной, после Гамлета, я написал лучшее из всего мною когда-нибудь написанного. Этот подъем продолжается и сейчас. Я делаю все, что делают другие, и ни от чего не отказываюсь: вошел в пожарную оборону, принимаю участие в обучении строю и стрельбе. Ты видела... что я написал в начале войны для газет: такое же простое, здоровое и содержательное... Меня просили для «Красной нови» дополнить те невоенные стихи чем-нибудь военным. Я написал четыре вещи, из них выбрали одну, самую слабую. Мне обещали двести пятьдесят рублей. Когда я пришел попросить, чтобы мне их натянули до трехсот, я узнал, что вытисали только сто, да и тех не уплатили.

...Я не растерялся и со всем справлюсь, несмотря на то, что взятый большинством, и считающийся обязательным тон в нашей печати еще дальше от меня и отвратительнее мне, чем до войны, несмотря на дикое сопротивление неисчислимых пошляков и бездарностей в редакциях, секретариатах и выше...

Я мог бы наверное написать что-нибудь очень свое, и жалко, что недостаточно смел, чтобы на все плюнуть и приняться за это. (Ты не думай — с войной и всем нынешним, но сильно и правдиво, как мне подсказывает глаз и совесть)».

Что имел в виду Борис Леонидович, когда он писал: «с войной и всем нынешним»? Уж не «Доктора ли Живаго»? По утверждению Нины Табидзе, идея «Живаго» зародилась у Пастернака в 1938 году, когда он возвращался из Грузии после юбилея знаменитого поэта прошлого столетия Давида Гурамишвили. По словам той же Нины, до войны было написано семьдесят три страницы, после чего работа приостановилась. А затем продолжалась. Но Пастернак в письме точно указывает «с войной и всем нынешним», что, разумеется, можно отнести и к «Доктору Живаго», но можно толковать как иной, п р я м о современный замысел.

Несколько позже, уже к концу войны, Пастернак написал Зинаиде Николаевне в Чистополь:

«Меня раздражает все еще сохранившийся идиотский трафарет в литературе, делах печати, цензуры и так далее. Нельзя после того, как люди нюхнули пороху и смерти, посмотреть в глаза опасности, прошли по краю бездны и пр., выдерживать их на той же глупой, безотрадной и обязательной малосодержательности, которая не только на руку властям, но и по душе самим пишущим, людям в большинстве неталантливым и творчески слабосильным, с ничтожными аппетитами, даже не подозревающими о вкусе бессмертия и удовлетворяющимися бутербродами, зисами и эмками и тартинками с двумя орденами. И это биография! И для этого люди рождались, росли, жили. Ты помнишь, какое у меня было настроение перед войной, как мне хотелось делать все сразу и выражать всего себя, до самых глубин. Теперь это только утвердилось. Я со многими поссорился, с Маршаком, с Погодиным, множеством мелюзги, и обидел, кажется, Гаррику и Милицу Сергеевну (Нейгауз. — Ю. К.). Они мне страшно мешали своим праздным видом и дачной типичностью: праздный интеллигентный зудеж, неумение толком убраться за собой, круглодневное чтение книжек, задрав ноги в гамаках и пр. и пр. А я не ангел, во мне целый ад сидит, мне некогда, для меня мерило — способность человека к самому простому и черному на свете...»

Однажды с фронта приехал Женя. Пастернак провел с сыном несколько дней. Рассказы о войне сильно впечатлили его. Он заметил о сыне: «Женя был весь в веснушках, стыдлив и скромн». После этого Пастернак обратился в ССП с просьбой, чтобы ему дали возможность выехать на фронт. Пастернаку отказали в длительной поездке, но после проволочек, при содействии Фадеева, ему удалось лишь на короткий срок выехать в московские районы. Кажется, после этого он и написал свои военные стихи, напечатанные впервые, если не ошибаюсь, в газете «Красная звезда».

Затем Пастернак вылетел в Чистополь. Здесь он продолжал работать над переводом «Антония и Клеопатры». Алексей Сур-

ков привез из Москвы известие об аресте Генриха Нейгауза, которого в первые дни, когда выселяли из Москвы всех немцев, не тронули. Сам Генрих Густавович рассказывал о своем пребывании во внутренней тюрьме на Лубянке с поразительным юмором, особенно о своих беседах со следователем, во время которых он шевелил пальцами, по привычке разминая их, и называл музыкальные произведения, доносившиеся из приглушенного репродуктора Московской радиотрансляционной сети. Зинаида Николаевна, разумеется, была крайне возмущена арестом Нейгауза. Не менее был возмущен и Пастернак. Ведь Нейгауз в то время считался одним из лучших советских пианистов. Сурков разъяснил это так:

— Все, кто не сразу выехали из Москвы, на подозрении.

Зинаида Николаевна парировала:

— Все, кто слишком поспешно выехали из Москвы, тоже должны быть на подозрении. Да и вообще следовало бы выяснить, что такое «быть на подозрении».

В Чистополе, в доме Авдеева, Пастернак читает отрывки из своих переводов, на эти чтения собирается местная интеллигенция. Встречи с Пастернаком превращаются в литературные вечера. Борис Леонидович чувствовал себя здесь хорошо. Не было официальных деятелей, а был узкий круг искренних людей. Семья. Тепло. Уютно.

Дважды Пастернак возвращался в Москву. После окончания войны Зинаида Николаевна и ее дети также возвращаются домой. Дача в Переделкино и квартира в Москве были в ужасном состоянии. Постепенно, усилиями Зинаиды Николаевны, квартира и дача были приведены в порядок.

Где-то между сорок шестым и сорок седьмым годами появляется в жизни Пастернака Ивинская. Кажется, Борис Леонидович познакомился с ней в редакции журнала «Новый мир». Она в то время работала секретарем Константина Симонова, который был главным редактором этого журнала.

После войны я нередко бывал у Бориса Леонидовича, и в Переделкине и на московской квартире. Но я ни разу не решился заговорить с ним о чем-либо важном для меня, о том, что

постепенно созревало в моей душе, очень медленно и противоречиво. Надо сказать, что в те годы я был обуреваем тщеславием и всячески добивался успеха, того успеха, который допустим в СССР, то есть признания партии и правительства. И я этого добился. Я написал антиамериканскую агиточную пьесу «Джон — солдат мира», посвященную Полю Робсону и Пикскилльским событиям, о которых писал в то время Говарт Фаст. Пьеса была поставлена в Московском драматическом театре имени Пушкина. Я оказался в шеренге первых среди «борцов за мир». Меня приглашали на всякие конференции, встречи, приемы. Я чуть было не удостоился Сталинской премии. Мои «успехи» вскружили мне голову и принесли солидный доход. И я стал постепенно почти всерьез считать себя «выдающимся». Это было тем легче, что меня окружали десятки, сотни таких же «преуспевающих», и я обманывал себя, делая вид, что ничего не понимаю, что все отличное: я «талантлив», у меня блестящее «будущее».

В глубине души я, конечно, подозревал, что все это — глубочайшая фальшь и никакого отношения к литературе не имеет, что я — просто подонок и халтурщик. И первым доказательством этого может служить то, что я не только не посмел, не решился, но даже и не собирався пригласить на свой спектакль Бориса Леонидовича. Я приглашал таких же, как я — «выдающихся», но Пастернака не трогал. Где-то очень глубоко во мне жило сознание, что он и мы — люди не только разные, но и несоизмеримые. И в том, что я это сознавал, таилось мое спасение.

В пятьдесят третьем году я ездил в Тбилиси. Вернувшись в Москву, я позвонил Борису Леонидовичу и отправился к нему на Лаврушинский. В руках у меня была посылка от Нины Табидзе: как всегда, грузинские сладости, вино, фрукты. Было и письмо.

Пастернак встретил меня и мы прошли в его кабинет. В квартире кроме нас не было ни души. После рассказа о своей поездке, о Нине, Ниточке и других общих знакомых, между нами завязался разговор несколько иного характера.

Помню, что тогда уже я стал испытывать потребность в честном и естественном отношении к миру и к самому себе.

Я заговорил с Пастернаком о своих сомнениях. Этот разговор стал началом моей исповеди, которая завершилась в Тбилиси, шесть лет спустя. После короткой настороженности он спокойно и несколько сдержанно (ведь это был наш первый т а к о й разговор) стал говорить, что во мне происходит неизбежный для каждого человека процесс, и что все теперь будет зависеть от того, выльется ли это во что-либо серьезное, капитальное, сформирует ли это окончательно мой характер и душу или же окажется легкой рефлексией, чем-то проходным, вроде инфлюэнции или гриппа. Он старался пробудить во мне тогда стремление думать и слушать себя: свое сердце и душу. Он считал, что только в этом — исцеление. Сердце и душа — единственные стоящие ориентиры. Прочь меркантилизм, конъюнктуру, обман и самообман!

В этой небольшой комнате на Лаврушинском Пастернак, может быть сам того не подозревая, своим ответом на мои сомнения вошел в ту область моего существования, которая до того оставалась для меня недосягаемой или которую я полуинстинктивно, полусознательно исключал. Мои сомнения, моя тоска и отвращение к себе и окружающему меня миру впервые получили подтверждение, и подтвердил мне это с а м Пастернак, тот Пастернак, которого я безотчетно избегал, поэзией которого никогда не увлекался, но всегда воспринимал его как нечто очень д о с т о в е р н о е . Тогда я подумал, что избегал я его, вероятно так, как избегают того, кто вызывает угрызения совести, кто заставляет вдруг осознать собственное н и ч т о ж е с т в о .

В пятьдесят втором году Пастернак серьезно заболевает. Первый инфаркт. Его поместили в Боткинскую больницу. Но здесь он лежал первые дни в коридоре, так как свободных мест в палатах не оказалось. Здесь он был, конечно, не один, с ним лежали многие. Правда, коридор был большой, просторный, в нем было много воздуха. Борису Леонидовичу нравилось лежать в коридоре. Но Зинаида Николаевна, постоянно посещая его и наблюдая, как на простынях через коридор выносят мертвецов, с большим трудом добилась перевода мужа в палату. Несмотря на воз-

ражения Пастернака, его поместили в Кремлевское отделение при Боткинской больнице, которое предназначено лишь для высокопоставленных партийных и государственных деятелей, а также для верхушки интеллигенции.

Пастернак оказался в палате с жирным министерским дядей. Тот дни напролет слушал без всякого разбора радио и вел, по свидетельству Зинаиды Николаевны, «дурацкие разговоры». Кто такой Пастернак он не знал и даже никогда не слышал его имени, но был с ним вполне дружелюбен, так как понимал: раз человек попал в Кремлевское отделение, значит он шишка, значит «свой». Пастернак взмолился, чтобы Зинаида Николаевна перевела его обратно «в коридор», где он был среди простых, но «нормальных» (его слово) людей. Но этого, конечно, уже сделать было нельзя. Трудно попасть в Кремлевское отделение, а еще сложнее попасть из Кремлевского в отделение для обыкновенных смертных.

После того как Пастернаку разрешили вставать с постели, врачи посоветовали отправить его в санаторий. Зинаида Николаевна поехала в Литфонд хлопотать о путевке для Бориса Леонидовича и для себя, так как было решено, что она будет в течение двух месяцев при нем. Борис Леонидович настоятельно просил, чтобы Зинаида Николаевна к у п и л а путевки. Однако правление Литфонда вынесло решение о предоставлении Пастернакам двух путевок в санаторий Болшево за счет Литфонда. Зинаида Николаевна протестовала, но изменить постановление было нельзя.

В Болшеве Пастернак узнал о смерти Сталина. Когда Зинаида Николаевна спросила его, не хотел бы он написать что-либо об этом, Пастернак решительно отказался и произнес ту известную фразу, которую я привел выше.

Перед возвращением Пастернака в Переделкино Зинаиде Николаевне удалось отремонтировать и несколько обновить дачу.

Однажды Пастернак устроил у себя читку глав романа «Доктор Живаго». Присутствовали ближайшие друзья — Константин Федин, Всеволод Иванов, Борис Ливанов и дру-

гие. По окончании читки Федин заявил, что роман не историчен, ибо в нем нет образа Сталина, а без Сталина современная история существовать не может. (Это было еще до XX съезда). Ливанову не понравилось, что в образе Юрия Живаго подчеркнута слабость, мягкость русской интеллигенции, ее беспомощность. Он усомнился, является ли это типичным для тех лет. После того, как все ушли, Зинаида Николаевна, обращаясь к мужу, сказала:

— Я бы хотела, чтобы ты изменил Комаровского...

Пастернак ничего не ответил и впоследствии никаких поправок не внес.

Как известно, в пятьдесят четвертом году распространились слухи, что Борис Леонидович выдвигается на Нобелевскую премию. Большое количество иностранных корреспондентов в те дни посещали его дачу, фотографировали Пастернака, брали интервью. Но, разумеется, тогда речь шла только о поэзии Пастернака, о «Докторе Живаго» за рубежом еще ничего не было известно.

Вскоре после этого Пастернак одновременно послал рукопись своего романа в журнал «Новый мир» и в Гослитиздат, директором которого в то время был Котов. Ответ «Нового мира» последовал не сразу. Рецензию, впоследствии напечатанную в советской прессе, собственноручно написал Александр Кривицкий. Что же касается Котова, то ему лично роман очень понравился, он назвал его гениальным и заключил с Пастернаком договор об издании. Разумеется, осуществить это не удалось.

Позже Котов предлагал Пастернаку сократить роман, затем вел разговор об опубликовании отдельных глав. В связи с создавшейся обстановкой, он вынужден был оттягивать и лавировать. Вскоре он заболел, получил инфаркт и умер.

Во время Всемирного фестиваля молодежи в гости к Пастернаку на его дачу приехало много иностранцев. Среди них были и итальянцы. Борис Леонидович развеселился, разошелся. Выпили вина. Он слегка захмелел и, по словам Зинаиды Николаевны, «ляпал» всякую всячину. Она старалась незаметно для других

подталкивать его ногой под столом, но он, смеясь, говорил: «Вот жена делает мне знаки, чтоб я не болтал лишнего. А я болгаю...» Под конец обеда, по словам Зинаиды Николаевны, Борис Леонидович поднялся к себе наверх, в кабинет, один, пробыл там недолго и вернулся с большим пакетом, который он передал одному из иностранцев. Позже Зинаида Николаевна спросила его: «Что это было?». Он сказал, что это был «Доктор Живаго».

Она пришла в ужас, схватилась за голову.

— Что ты сделал? Зачем?!

Пастернак повторил свою любимую фразу:

— Я писатель, я пишу для того, чтобы печататься.

Но, как об этом сообщалось на Западе, Пастернак условился в дальнейшем с Фельтринелли, что тот не будет публиковать роман до тех пор, пока он не будет опубликован Котовым в Гослитиздате. Кажется, Котов и Фельтринелли договорились так: Фельтринелли подождет до сентября, после чего он свободен. К сожалению, Зинаида Николаевна не смогла рассказать, как все это произошло в хронологической последовательности. Поэтому моя версия приблизительна, хотя и не во многом расходится с западными версиями.

Когда в Москве стало известно о том, что Фельтринелли уже подготовил роман к печати (перевел и послал в набор), в ЦК КПСС, на Новой площади, поднялся переполох. Немедленно был вызван Пастернак. Произошел его знаменитый разговор с Поликарповым. Оба с инфарктами, Поликарпов и Пастернак, доводили разговор до крика. Пастернак стучал кулаком по столу, уходил, хлопая дверью. Поликарпов бежал за ним, возвращал его. Так повторялось дважды. Поликарпов просил, чтобы Пастернак послал Фельтринелли письмо с требованием вернуть рукопись, якобы для внесения поправок. (На самом же деле Поликарпов добивался расторжения договора между Фельтринелли и Пастернаком). Поликарпов называл Пастернака «антипатриотом», а Пастернак Поликарпова «чиновником».

Баталия закончилась тем, что Пастернак получил разрешение Поликарпова на «свободную» переписку с Западом и

послал какое-то письмо или телеграмму Фельтринелли. Но это дела не изменило. Тогда Поликарпов отправил в Италию Суркова с поручением получить рукопись у Фельтринелли. По словам Зинаиды Николаевны Фельтринелли согласился вернуть роман при условии, что ему компенсируют все расходы по переводу и типографской работе. Возник вопрос о валютных расходах, дело затянулось, и Сурков возвратился в Москву. А Фельтринелли напечатал роман.

Примерно в то же время Лёню не приняли в Московский политехнический институт имени Баумана. Он сдал экзамены достаточно прилично, но комиссия отказала ему. Борис Леонидович написал большое письмо министру высшего образования, в котором достаточно прямо сказал, что Лёню не приняли потому, что он сын Пастернака. Зинаида Николаевна ходила в Министерство объясняться. Но ничего не помогло.

В результате всех этих переживаний у Пастернака был второй инфаркт и его немедленно поместили в Кремлевскую больницу, в отдельную палату. Зинаида Николаевна регулярно посещала его.

Известие о Нобелевской премии пришло неожиданно. Был канун именин Зинаиды Николаевны. Утром Зинаида Николаевна поехала в Москву с Ниной Табидзе, которая гостила у Пастернаков на даче. У дома в Лаврушинском им повстречался знакомый, который сказал, что Пастернаку присуждена Нобелевская премия, что об этом сообщили иностранные радиостанции. Когда Зинаида Николаевна и Нина вернулись в Переделкино, там уже было много иностранных корреспондентов. Первыми поздравляли Пастернака Всеволод Иванов и Корней Иванович Чуковский. Однако Зинаида Николаевна, почувствовав приближение беды, сразу же слегла.

На следующий день домработница Таня пекла именинные пироги. На кухне вкусно пахло. Пришел Константин Федин. Потянув носом, он сказал с иронией: «к праздничку готови-

тесь», словно забыв, что неоднократно приходил он в дом Пастернаков на Зинин день и объедался этими пирогами.

Федин поднялся к Пастернаку. Зинаида Николаевна слышала, как Борис Леонидович повышал голос. Федин сказал Пастернаку, что нужно отказаться от Нобелевской премии. Пастернак ответил: «Почему ты не поздравляешь меня, разве ты не рад, что Нобелевская премия досталась России, что она у нас? Неужели у тебя нет чувства гордости за нашу землю?» Федин сказал: «Боря, речь идет о твоей жизни... Если ты не откажешься от премии, я ни за что не отвечаю».

Федин ушел, а Пастернак сказал Зинаиде Николаевне и Нине: «Они требуют, чтобы я отказался от премии. Как им не стыдно?»

А в это время на даче Федина сидел Поликарпов. После разговора с ним Федин и отправился к Пастернаку, затем сотрудник «Правды» приехал к Пастернаку и предложил подписать письмо в Шведскую академию с отказом от премии. Зинаида Николаевна обошлась с ним весьма резко. Пастернак, услышав их разговор, спустился вниз. Он смягчил резкость разговора, но письма не подписал. В газетах появилась подлая статья Заславского, гневные протесты «читателей». Из Москвы приехал курьер ССП с повесткой, в которой Пастернаку сухо и официально предлагали прибыть на заседание московского отделения ССП. Курьер настаивал, чтобы Пастернак расписался в получении повестки. Он отказался. На следующий день его исключили из ССП. Узнав об этом, он сказал:

— А я уже давно и не считал себя членом этого милого учреждения.

Кстати, Пастернак в течение двадцати лет не платил членские взносы в ССП.

Близкие оберегали Пастернака от газет, от радио и от всяких слухов. Он не выходил за пределы дачи. Шоссе было запержено машинами. Народ толпился у входа на дачу. Словом все это великолепно выражено в стихотворении «Нобелевская премия», написанном Пастернаком левой рукой и переданном иностранному корреспонденту Брауну для своих сестер.

Привожу выдержку из сочинения Заславского, озаглавленного «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Я думаю, что Заславского все-таки на том свете изжарят на сковородке. Он, вопреки элементарной человеческой честности, которой, впрочем, в нем нет ни на грош, написал: «Лишний голос. Одиночка. Когда-то это был не лишенный таланта поэт. (!??) Буржуазный интеллигент. Все изменилось вокруг Пастернака. Он остался неизменным. (Еще бы, не становиться же ему таким беспардонным вралем, каким стал Заславский). Он отставал все больше и больше от жизни, идущей вперед. Он чувствовал, что становится никому не нужен и не интересен. (О, Господи, прости этого негодяя, Заславского, и меня за то, что я его назвал негодяем.) Тем яростнее становилась его вражда к революции, к советской действительности». «Никогда даже в золотое время свое Пастернак не числился среди мастеров первого класса».

Ну, что на это сказать, подлости Заславского, конечно, нет предела. Но таких типов, несмотря на их старость и ничтожность, все-таки надо тыкать носом в ту кучу, которую они накладывают. Сравнительно недавно в Москве вышла книга воспоминаний о Маяковском, книга эта, правда, долго версталась, был момент, когда ее чуть было не запретили, так как Лиля Брик, по существу жена Маяковского, несмотря на свое родство с Луи Арагоном, не соглашалась внести поправки в воспоминания, а в них есть такое место:

«В те годы Маяковский был насквозь пропитан Пастернаком, не переставал говорить о том, какой он изумительный «заморский» поэт... В завлекательного, чуть загадочного Пастернака Маяковский был влюблен, он знал его наизусть, долгие годы читал всегда «Поверх барьеров», «Темы и вариации», «Сестра моя жизнь»... Для меня почти все стихи Пастернака — встречи с Маяковским».

Дача Пастернака «охранялась» агентами КГБ и среди автомашин было много оперативных, с Лубянки. Затем из Москвы власти прислали Пастернаку женщину-врача. Но Пастернак не нуждался во враче. Зинаида Николаевна сказала об этом и просила

ее вернуться в Москву. Женщина-врач ответила, что она должна находиться здесь и, с разрешения Пастернака, будет ночевать на даче. Таков приказ, и она, врач, не в силах изменить его. Зинаида Николаевна сказала: «Послушайте, если кто-либо думает, что Пастернак собирается кончать жизнь самоубийством, то это — чепуха». Женщина-врач осталась на даче.

После речи Семичастного по Переделкино разнесся слух, что Пастернак на самом деле собирается эмигрировать из России. Многие опасались, что это был провокационный слух, так как вокруг дачи каждый вечер бродили пьяные молодые люди, выкрикивавшие брань и угрозы в адрес Пастернака. Организация «народной расправы» над Пастернком была реальной опасностью.

Но Пастернак отказался от эмиграции не потому, что боялся «расправы», а потому, что в нем происходили сложные внутренние процессы. И эмиграция из России представлялась ему невозможной психологически.

Однако на семейном совете этот вопрос обсуждался. И Зинаида Николаевна сказала:

— Боря, ты столько перенес, что заслуживаешь в старости славы, уважения и спокойной жизни. Поезжай. Мы с Лёней останемся здесь. Мы, конечно, «откажемся» от тебя. Но это будет необходимой формальностью, не больше. А ты будешь свободен...

Пастернак ответил коротко:

— Или мы поедем все, или никто не поедет.

И хотя он ответил так, хотя существовал вариант «поехать», я внутренне уверен, что он знал с самого начала, что он не покинет Россию.

Утешением Пастернака в это тяжелое время были письма, которые он получал со всех концов света. Писем были тысячи. Он отвечал, сидя по ночам в своем кабинете. Владея тремя языками, изредка пользуясь словарями, он стремился как можно полнее ответить людям на их мысли и чувства. Но больше половины писем остались без ответа. Он не успел всем ответить.

После телеграммы, посланной Пастернаком в Стокгольм, после писем в «Правду» и Хрущеву, сразу все изменилось. Хулиганы вокруг дачи исчезли, уехала в Москву женщина-врач, реже стали появляться черные машины, угас бурный интерес иностранных корреспондентов. Постепенно вокруг Пастернака образно и фактически образовывалась пустота. Начался период изоляции. Писатели, те немногие, которые раньше все же, встречаясь, разговаривали с ним, теперь всячески избегали его, даже Сельвинский.

И вот, в это время, когда никто не решался переступить порог Пастернаковского дома, у ворот дачи остановились двое: мужчина и женщина. Они постояли немного, а затем смело вошли на участок и приблизились к дому. Это были супруги Маслениковы. Он, кажется, архитектор, а она скульптор. Их никто не знал, они не были «знаменитыми», «маститыми», они были рядовыми. И вот они так просто, почувствовав душевную потребность, поехали в Переделкино и решили навестить Бориса Леонидовича. Они так и представились: Маслениковы. И ничего они не боялись, и хотели они поговорить с Борисом Леонидовичем, сказать ему, как он им симпатичен и дорог. В те минуты для Пастернака это было самым важным на свете. Он радушно встретил их и с тех пор Маслениковы стали друзьями Пастернаков.

Зоя Масленикова предложила Пастернаку вылепить его бюст и просила позировать ей. Он охотно согласился и делал это очень старательно. Зоя почти закончила скульптуру, но однажды пластилин неожиданно размяк и голова сползла и упала на пол. Когда Зоя обнаружила это, с ней случилась истерика, она убежала в лес. Пастернак последовал за ней и пытался ее успокоить.

Зоя восприняла несчастный случай со скульптурой как предзнаменование. Однако она начала работать над новой скульптурой и довела дело до конца. Бюст был отлит из бронзы и сейчас находится в кабинете Пастернака. Выразительная «посадка» головы, высокая крутая шея, с взмахом, с движением, явно впечатляют. Самому Пастернаку скульптура нравилась.

Бывал в эти времена у Пастернака Всеволод Иванов. Приезжали молодые.

По свидетельству Зинаиды Николаевны, Пастернак не был склонен ко всякого рода литературным объединениям, кружкам и «школам», избегал лидерства. Его взаимоотношения с молодыми «либеральными» поэтами не были «тесными» духовными контактами. Приезжали и Вознесенский и Евтушенко. Они оба говорят о Пастернаке как о своем учителе, с которым их связывали глубокие творческие и дружеские узы. На самом деле это не совсем так. Сам Пастернак не стремился к таким узам, напротив, он избегал их.

Его встречи с Вознесенским и Евтушенко были редкими. По рассказу Зинаиды Николаевны, Пастернак предпочитал Евтушенко. Пастернак считал, что Вознесенский пишет слишком много, по любому поводу, размениваясь на пустячки, что у него нет чувства меры и умения внутренне оценивать свой замысел, взвесить его, быть может, отбросить прочь, как преходящее, и устремиться к главному. Но и в отношении к Евтушенко Пастернак был очень сдержан.

На дачу иногда приезжал Лихоталь. Он привозил с собой кинокамеру. Прогулки Бориса Леонидовича, его разговор с Галей, перед выездом на лыжах, обед, и многое другое зафиксировано на пленке. Лента эта находится у Лихотали, а возможно, в КГБ.

Нередко можно было видеть Пастернака, выходящим из нашей переделкинской библиотеки с книгами. Библиотека принадлежала Дому творчества. Заведовала ею очень симпатичная женщина. Она рассказывала мне, что Пастернак рылся в старых книгах. Его интересовала литература периода крепостного права, особенно язык того времени.

Зачем нужны были ему эти книги?

Он писал пьесу. Ничто не могло вывести его из рабочего состояния. Или в этом рабочем состоянии он находил для себя спасение. Он писал каждый день. Пьеса — под названием «Слепая красавица» — осталась незавершенной. Зинаида Николаевна говорила мне, что Борис Леонидович кончил пьесу, но только полтора акта, примерно сто десять страниц напечатаны на

машинке. Остальное — в черновиках, и необходимы очень опытные текстологи для того, чтобы расшифровать эти черновики и закончить работу.

После смерти Бориса Леонидовича Зинаида Николаевна дала мне прочитать эти сто десять страниц.

Это реалистическое произведение из жизни русского дворянства и крепостного крестьянства. Трудно пересказать содержание четырех картин, из которых две являются прологом. Действие начинается в родовом имении графа Норовцева в Пятибратском. Тридцатые годы прошлого столетия. Дворяная девушка Луша любит приближенного к графу крепостного Платона. Граф стреляет в Платона из-за ревности к жене, графине Елене Артемьевне Сумцовой. Пуля попадает в бюст, стоящий на шкафу. Мелкие осколки от бюста попадают в глаза Луши и она слепнет. Платон убегает из поместья и исчезает. Он любил Лушу, но и с графиней у него была связь.

В районе поместья становится беспокойно. Появляются разбойники, или вернее, бунтари из народа, которых возглавляет Лешка Лешаков. Через пятнадцать лет Платон, эмигрировавший из России, возвращается домой. Но он возвращается как лейтенант шведской армии Риммарс. Вторая картина — это сторожка в лесу, где происходит встреча между Риммарсом и графиней Сумцовой, которая за это время овдовела и вышла замуж за родственника умершего мужа — молодого графа Ириней Норовцова, организовавшего первый крепостной театр. Сын Платона и графини Сумцовой отдан Луше на воспитание.

В дальнейшем Луша становится артисткой крепостного театра. Очень интересен образ станового Налетова, в дальнейшем губернатора. Третья картина — это изба, где умирает старик Пахом. Четвертая картина — почтовая станция в Лесном, где Дюма-старший дожидается лошадей. Здесь появляется великий князь...

Вот, даже Дюма-старший является действующим лицом в этой пьесе. Но без последующих страниц трудно составить общее впечатление и изложить сюжет вещи.

Некоторые относятся к пьесе критически. Так, например, Борис Ливанов, прочитав ее, сказал, что это подделка, что это написано не Пастернаком. Можно спорить о достоинствах и недостатках пьесы, но она, конечно, написана Пастернаком.

Меня очень заинтересовал Платон и его судьба. Пастернак дает ему возможность бежать из России, странствовать в течение пятнадцати лет и вернуться в звании лейтенанта шведской армии, под фамилией Риммарс. Я позволю себе сделать вывод, что у Пастернака существовала мысль о *допустимости* бегства от произвола, самоуправства, зла. Правда, его герой возвращается.

Но его возвращение носит особый характер. Это — возвращение для борьбы, а не с покаянием. Во всяком случае, такие «метаморфозы», как пятнадцатилетнее исчезновение, как появление в образе лейтенанта чужеземной армии — все это в представлении Пастернака было *возможным, естественным*, исходя, разумеется, из образа, из характера Платона. А Платон, выражаясь советским языком, «положительный» герой пастернаковской пьесы.

Мне часто доводилось слышать такие рассуждения среди моих московских знакомых: «Какая глупость! И зачем надо было затевать всю эту позорную историю? Разве нельзя было опубликовать «Доктора Живаго», скажем, в количестве пяти тысяч экземпляров. Кто бы читал этот роман? Он недоступен рядовому человеку. Чего испугались?»

Пастернака испугались!

Пастернак для них страшен.

Неслучайно на одном из «активов» в здании ЦК КПСС, Поликарпов, получив вопрос: «Правда ли, что в СССР будет издан «Доктор Живаго», — а такой слух, кстати, ходил по Москве в начале шестидесятых годов, — покрывив губы и восприняв вопрос, конечно, как вражеский выпад, ответил:

— Мне об этом ничего неизвестно.

В условиях, в которых нынче живет Россия, для того, чтобы пойти на то, на что пошел Пастернак, надо было иметь бесстрашное сердце, верить самому себе, быть до конца искренним.

Россия, пережившая поразительные и сложнейшие катаклизмы, нуждается, как умирающий от жажды, в *искреннем* слове художника, в его личной *правде*.

Последние дни Пастернака

В конце мая шестидесятого года я приехал в Переделкино и поселился в Доме творчества. Тогда я писал свой очередной киносценарий.

Однажды я встретил в вестибюле Валентина Фердинандовича Асмуса, ныне профессора Московского университета, автора многих книг по эстетике и философии, с которым я до того был мало знаком. Однако я спросил о Пастернаке, так как знал, что они близкие друзья.

Асмус посмотрел на меня внимательно и спросил: «А вы разве ничего не знаете?» Я вздрогнул: «Чтонибудь случилось?»

Валентин Фердинандович сообщил мне, что Пастернак очень тяжело болен, что он уже больше недели лежит, и что врачи не могут точно определить, что с ним. Кардиограмма свидетельствует об инфаркте. Я спросил у Асмуса о Нине Табидзе. Здесь ли она, у Пастернаков? Асмус ответил: «Конечно. Она собиралась улетать в Тифлис на юбилей Тициана, но Борис Леонидович попросил ее остаться. Она послала в Тифлис телеграмму и, разумеется, осталась».

Я немедленно пошел к Пастернаку. Сердце у меня ныло. У ворот Дома творчества я повстречал нашу уборщицу, с двумя малыми ребятами. Она всхлипнула, приложила к носу кончик головного платка и произнесла:

— Борис-то Леонидович кончается...

Войдя на двор дачи Пастернака, я обратил внимание на необычную суету. Во дворе стояло несколько человек, у лестницы дежурил шофер. Нина сразу заметила меня и пошла навстре-

чу. Она обняла меня. На глазах у нее были слезы. «Что, очень плохо?» Она вздохнула и тихо сказала: «Я думаю, что у него рак. Но ты не говори об этом Зине...»

Появилась Зинаида Николаевна. С нею вышли двое мужчин. Они о чем-то поговорили с Зинаидой Николаевной, сели в пастернаковскую «Волгу» и уехали в Москву. Это были крупные специалисты по сердечным заболеваниям. Один из них — знаменитый Фогельсон. Они приезжали ежедневно. За каждый визит Зинаида Николаевна платила по пятьсот рублей.

Нина познакомила меня с Татой Сельвинской и ее мужем. Они принесли какие-то заграничные лекарства, оставшиеся у них после лечения Сельвинского, сравнительно недавно перенесшего тяжелый инфаркт. Мы разговаривали полупшепотом. Все было как-то особенно, тихо и печально. Но, вместе с тем, каждый был готов к деятельности. Ведь еще была надежда, маленькая, но надежда. Я сказал Нине, что у меня есть «Волга» и, если понадобится куда-либо поехать, я могу это сделать во всякое время дня и ночи.

На даче были Александр Леонидович с Ириной Николаевной, Лёня, Женя и его жена, дочь академика Шпета Алена; первая жена Пастернака, Евгения Владимировна, и врач Литфонда, чуть прихрамывающая Анна Наумовна; медсестры.

Погода была отличная. Солнечная. Теплая. В небе рокотали самолеты, а в саду все было зеленое и пахучее. Собаки Пастернаков Тобик и Бубик бегали по двору, играли, лаяли и были довольны столь необычным числом посетителей.

Мы пошли с Ниной гулять. Во время прогулки она рассказала мне следующее. Она гостила у Пастернаков более двух месяцев. В Тбилиси предстоял юбилей Тициана, который решили торжественно отметить. Нина собиралась ехать в Тбилиси. Предполагалось, что с нею поедет и Зинаида Николаевна, с тем, чтобы немного отдохнуть, ибо она последнее время чувствовала себя неважно. В первый день Пасхи в Переделкино приехала Рената Швейцер, поэтесса из Западной Германии. Это была женщина средних лет, по словам Нины, приятная в общении и интересная, как человек. Борис Леонидович был рад этому визиту. Рената провела целый день у Пастернаков. Борис

Леонидович пошел провожать ее на станцию. Затем Рената приехала еще раз. И снова провела целый день в обществе Пастернака. Она собиралась в один из последующих вечеров посетить Большой театр. Борис Леонидович вызвался пойти вместе с нею.

Однако, Зинаида Николаевна посоветовала не делать этого, учитывая одиозное положение Пастернака. Борис Леонидович пошел провожать Ренату на станцию. Он отсутствовал часа два и вернулся очень усталым. Он пытался снять в передней пальто и не мог этого сделать. Когда Нина помогла ему, он сказал: «О, Господи, какое тяжелое пальто». Потом он позвал Нину к себе в комнату и сказал: «Ниночка, не говорите Зине, но у меня рак... рак легкого».

На следующий день Пастернак слег. Он лежал в бывшей музыкальной комнате. Первый диагноз врачей был: стенокардия. Затем инфаркт. Сначала приезжали врачи Литфонда. Затем Зинаида Николаевна стала приглашать медицинских знаменитостей. Сильная боль в лопатке не проходила, а главное, Пастернак катастрофически слабел и худел. Резко упал процент гемоглобина. На консилиуме профессор Попов спросил о желудке. Это было первое подозрение на рак.

Нина, тайком от Бориса Леонидовича, который был категорически против этого, и тайком от Зинаиды Николаевны пошла к Федину на соседнюю дачу. Ее с Фединым связывали в прошлом дружеские отношения. Но Пастернак порвал с ним. Нина рассказала Федину о болезни Пастернака и попросила помощи. Федин немедленно написал в Москву секретарю правления ССП Константину Воронкову. И сразу же появились сиделки и врачи из Кремлевской больницы. Но Анна Наумовна продолжала неотлучно быть подле Пастернака, она была около него до смерти и сделала все, чтобы облегчить его последние дни.

Кремлевские врачи предложили перевезти Пастернака в Москву, в Кремлевскую больницу. Он воспротивился. Он сказал Зинаиде Николаевне: «Я хочу умереть дома, среди своих. Скоро, скоро я вас всех освобожу от мук и горя. Но в Москву я

не поеду». Фогельсон также считал, что нельзя беспокоить Пастернака транспортировкой.

Я ежедневно бывал у Пастернаков. Обычно я приходил после завтрака, часов в десять, и сидел в саду или во дворе до двенадцати. Во дворе дачи и на шоссе перед дачей я видел ежедневно много иностранцев, преимущественно корреспондентов. И Александр Леонидович шел встречать западных журналистов. Он был, так сказать, «пресс-атташе». Он немного говорил по-английски и по-немецки. Он объяснялся с зарубежными представителями вежливо и с достоинством.

Иностранцы приезжали дважды в день, утром и вечером, спрашивать о состоянии Пастернака.

Немногие имели в те дни доступ к Пастернаку. Одним из немногих был Николай Николаевич Вильям-Вильмонд. Вильмонд и Пастернак были друзьями с юности, но несколько лет назад между ними пробежала черная кошка. Вильмонд считал себя обиженным, но он пришел к Борису Леонидовичу и протянул ему руку. Пастернак слабо улыбнулся и тихо произнес: «Спасибо, Коля. Напиши обо мне...». Пастернак знал, что Вильмонд может написать о нем по-настоящему.

Состояние Пастернака ухудшалось с каждым днем. Нина говорила мне, что он стал маленьким, что кожа на лице его — как пергамент, что он говорит шепотом, потому что у него нет сил, но в глазах его по-прежнему светится сознание и он может улыбаться. Пастернака поддерживали искусственным питанием.

Нина говорила мне, что последние дни Пастернак очень страдал от сознания своей греховности. Он просил Нину причастить его. Он очень хотел каяться в грехах. Нина сказала: «Вы думайте об этом... вы можете покаяться про себя...». Пастернак кивнул и дважды перекрестился. Нина сказала, что это явно облегчило его душу.

Незадолго до смерти Пастернак попросил, чтобы Лидия Леонидовна приехала в Москву. Была послана соответствующая телеграмма. Однако, по словам Нины, Лидия Леонидовна

не приехала вовремя, так как советское посольство задержало ей визу.

О близкой смерти Пастернака стало известно в Москве. В Переделкине, разумеется, об этом говорили все. И все в Переделкине как-то притихло, замедлилось. И даже у нас, в Доме творчества была заметна печаль. Большинство интересовалось положением Пастернака. Многие и днем и вечером ходили к даче Пастернака, простаивая там часами, без опасения быть замеченными.

В Переделкино приехал поэт Евтушенко. Он явился на дачу Пастернака с бутылкой коньяка. Зинаида Николаевна встретила его сухо и к Пастернаку не пустила.

После того как близкий друг Пастернаков, профессор-рентгенолог Тагер сделал снимки, все стало ясно: грудная полость и желудок были поражены метастазами. Тагер сказал Зинаиде Николаевне, что Пастернаку осталось жить пять дней. По предложению профессора Попова было сделано первое вливание крови, которое улучшило состояние Бориса Леонидовича. Его щеки порозовели; он стал бодрее.

Второе переливание было сделано через два дня. После того, как было сделано вливание, кровь хлынула из горла Пастернака. Он умер через десять минут.

Пастернак умирал в полном сознании. Он скрепил руки своих сыновей и просил их жить в мире, он сказал, что Зинаида Николаевна была для него самым близким существом и просил любить и уважать ее.

Около его постели находились Зинаида Николаевна, дети, Нина Табидзе, Александр Леонидович, Ирина Николаевна, врачи и медсестры. Было 11 часов 40 минут. Пастернак говорил очень тихо, с длительными перерывами. Последнее, что он сказал:

— Это хорошо, что я умираю... в жизни слишком много подлости... И там, и здесь... Я бы все равно не мог с этим примириться...

С этой непримиримостью он и ушел из жизни. Анна Наумовна немедленно отправилась на дачу к Всеволоду Иванову и, связавшись с Москвой, сообщила в поликлинику Литфонда о смерти Пастернака.

О смерти Бориса Леонидовича я узнал на следующее утро, в девять часов, встретив Асмуса, возвращавшегося с дачи Пастернака. Во дворе дачи уже было немало людей, близких, конечно. На скамейке под деревьями сидели переводчик Марк Тарковский и Константин Паустовский, немедленно приехавший в Переделкино и пробывший на даче Пастернака все три дня до похорон.

Зинаида Николаевна села рядом с Паустовским. Она жестом позвала и меня. Паустовский, в глазах которого были слезы, сказал: «31 мая день моего рождения. День моего рождения и день смерти Бориса Леонидовича...».

Паустовский и Пастернак никогда не были друзьями, но Паустовский приехал потому, что это было очень важно приехать и быть тут в то время, когда никто из писателей, за исключением Всеволода Иванова и Корнея Чуковского, не решился на это. Это означало заявить народу, заявить властям, что для него, Паустовского, Пастернак важнее всякой политики, всяких кампаний, что для него Пастернак — это русская литература.

Зинаида Николаевна сказала: «Перед смертью Бори я сидела на стуле и вдруг забылась, минут на пять. Я видела сон. Мы с Борей идем вдвоем, а идти некуда — тупик, поворачиваем в сторону и там тупик, тупик...».

Потом Зинаида Николаевна рассказала о том, что за день до смерти, утром, она причесывала Бориса Леонидовича, он был слаб, но чувствовал себя после первого вливания крови лучше и даже «капризничал», ему не нравился пробор и Зинаиде Николаевне пришлось сделать иной...

В полдень приехал из Литфонда Арий Давыдович. На протяжении двух или трех десятилетий он хоронил всех московских писателей. Теперь он приехал по поводу похорон Бориса Леонидовича. И Арий, конечно, уже знал, что эти похороны — дело необычное.

В этот же день было совершено медицинское вскрытие. Специалисты сняли гипсовую маску и слепок правой руки.

Перед смертью Борис Леонидович просил совершить его отпевание и похоронить в Переделкине...

Отпевание было в полночь, вернее, в 11 часов. Присутствовали только родные и самые близкие. И об этом никому не было сказано. Это хранилось в тайне, чтобы не осложнять и без того напряженную ситуацию.

На следующий день Паустовский поехал в Москву в ССП. В Доме творчества рассказывали, что Паустовский собрал заседание президиума ССП и предложил немедленно восстановить Пастернака членом ССП с тем, чтобы похоронить его соответствующим образом. По слухам, Сурков отправился в ЦК к Поликарпову, а затем к Сулову. Сулов категорически воспротивился этому.

В полдень приехал Елисон из Литфонда. Он, Арий Давидович и Зинаида Николаевна долго совещались при закрытых дверях о том, как будут устроены панихида и похороны. Елисон сообщил, что Литфонд расходы по похоронам берет на себя. Разумеется, это было решением высших инстанций. Елисон просил закрыть на ключ кабинет Пастернака и вообще быть «бдительными».

На следующее утро тело Пастернака положили в бывшей музыкальной комнате. Я отлично помню минуту, когда я впервые увидел мертвого Пастернака. Во дворе было человек десять-пятнадцать, все те же близкие друзья. Французский корреспондент Люсьен ждал, когда его пустят в комнату, чтобы сделать первый снимок. Я заглянул в музыкальную комнату и увидел тело Бориса Леонидовича. Это удивительно: мертвый Пастернак был очень обыкновенным; исчезло то, что было в его лице поражающим. Мне казалось, что умер другой человек, а не Пастернак.

До того, как впустили Люсьена, на пороге появилась женщина. Это была старая крестьянка, в длинной юбке, в чистой белой кофте, платок в горошинку, мужские ботинки на ногах. В костистых коричневых руках держала она ветку сирени. Одну ветку сирени. Свежую, вероятно, только что сорванную. Она, ни на кого не глядя, шла к Пастернаку. Александр Леонидович остановил ее и спросил: «Вы куда?» Она спокойно ответила: «К Борису Леонидовичу». И все расступились. Она медленно подошла, положила веточку сирени в ноги Пастернака и постояла несколько минут, молча, не плача, нет, молча, не отрывая глаз от лица Пастернака.

Люсьен начал фотографировать. Это были первые снимки.

Народу собиралось все больше и больше.

В этот день в газете «Литература и жизнь», которую мало кто читает, было помещено краткое похоронное сообщение о смерти «члена Литфонда СССР» писателя Бориса Леонидовича Пастернака.

Борис Леонидович лежал спокойный и безразличный к мирской суете. Зинаида Николаевна одела его во все лучшее: английский костюм, несколько лет назад привезенный Сурковым из Великобритании и английские штиблеты. Кажется, это был единственный костюм у Бориса Леонидовича.

А в доме дирекции писательского поселка, в кабинете у Тиграна, заседали Константин Воронков, заместитель директора Литфонда Тараканов и представители КГБ. В день похорон они неотлучно были на своем «командном пункте». Представители КГБ расставили агентов повсюду, где было необходимо, учитывая возможное скопление транспорта и народа. Однако никто из этих «руководящих деятелей» на даче у Пастернака не появился; они осуществляли свои планы с помощью Ария Давидовича и Елисона.

В этот же день на одной из стен Киевского вокзала появилось объявление: «Умер великий поэт Пастернак». Это объявление было написано от руки. Милиция сорвала его со стены. Однако, вскоре появилось второе объявление.

Весть о смерти и похоронах Пастернака облетела студенчество Москвы.

Сколько человек было на похоронах Пастернака? Я затрудняюсь назвать цифру. Но людей было очень много, несколько тысяч, наверное. Люди были самые различные, и по возрасту и по положению.

Рано утром на «зимах» приехали в Переделкино агенты КГБ.

Когда я пришел на дачу Пастернаков, там уже было полно людей. Я обратил внимание на военного летчика в отставке, кажется майора, он был здесь и вчера. Он декламировал наизусть стихи Бориса Леонидовича. Иногда он останавливался и, ни к кому не обращаясь, громко говорил: «А в авиации Пастернака любят! Да, любят!».

Среди присутствовавших я успел заметить Корнея Чуковского, Бориса Ливанова, Вениамина Каверина, Всеволода Иванова. Напротив веранды, окруженные друзьями, стояли Ольга Ивинская и Ирина. Лицо Ивинской было красным от слез. Стасик играл шопеновский траурный марш. Позднее его сменили Святослав Рихтер и Юдина. Все время, почти без перерыва, звучала музыка. Закончили Чайковским. Мелодией, которую Пастернак любил, под которую он, по его словам, родился! Под эту мелодию его хоронили. Окна из комнаты Зинаиды Николаевны во двор были открыты и музыка выплывала наружу...

В столовой на постаменте, утопая в цветах, стоял гроб с телом Пастернака. Люди входили в переднюю, затем в столовую, проходили мимо гроба и выходили через кухню во двор. Но многие старались остаться в столовой и постепенно там образовалось такое скопление народа, что двигаться уже было невозможно. У гроба стояли родные, близкие, друзья. Мне запомнился плачущий Борис Ливанов. Несмотря на то, что окна были открыты, в столовой было нестерпимо жарко. Жена Паустовского беспокоилась за мужа. Она сказала мне, что он очень плохо себя чувствует, что он не спал ночь, что у него сердечные припадки. Ее особенно волновало то, что Паустовский собирался выступить на кладбище, но это не была тревога за «репутацию» Паустовского.

Венков было немного. От семьи, от Асмусов и от Литфонда СССР. Кажется, так. Но цветов было много, очень много; почти все, кто приехал на похороны, были с букетами цветов, и когда могила была засыпана землей, на ней образовалась гора из цветов. Особенно много было сирени.

Когда гроб понесли к воротам, я вместе со Святославом Рихтером, до последней минуты игравшим на рояле, побежал к воротам через огород, сокращая путь, так как по дороге протиснуться было трудно. С нами бежало еще несколько человек. У синего автобуса происходила странная возня. Когда мы приблизились, возня прекратилась. Гроб несли на руках, а дверцы автобуса были захлопнуты. Оказывается, Арий Давидович, Елисон и молодой человек из КГБ пыгались, как было договорено с Зинаидой Николаевной, поместить гроб в автобус. А народ воспротивился. Народ решил, что эти полтора километра до кладбища он пронесет Пастернака на руках. Представителям властей не удалось изолировать гроб с Пастернаком от людей. Представителям властей пришлось примириться и уступить. Гроб несли на руках.

Похороны Пастернака достаточно подробно были описаны в западной прессе и мне почти нечего добавить. Разве отдельные штрихи.

Паустовский не выступал, потому что он был совсем плох и еле держался на ногах. Мужественную речь произнес Асмус. Читал стихи Пастернака актер Голубцев.

Представители властей старались по возможности быстрее закончить траурный митинг и опустить гроб в могилу. Их беспокоило как бы этот митинг не перерос в политическую манифестацию. А такая угроза была. Летчик в отставке громко выкрикнул: «Это Хрущев убил Пастернака!». Послышались другие голоса: «Придет время «Доктор Живаго» будет напечатан!», «Имя Пастернака останется в веках!». Кто-то зашикал, пытаясь прекратить эти выкрики. Тогда со всех сторон понеслось: «Опять жандармерия! Вон! Вон!». Шикающие притихли. Асмус был бледен, как полотно. Это действительно был гнев народа, это было истинное, идущее от души. И я

почувствовал, что если это в самом деле поднимется, если это пробудится, то э т о сметет на своем пути решительно все; тут не помогнут ни сексоты, ни милиция, ни пулеметы, ни атомные бомбы.

Асмус всячески призывал присутствующих к порядку. Однако гнев улегся потому, что в гробу лежал Пастернак. И все почувствовали, что здесь не место для демонстрации, что здесь место для скорби; пока для скорби, а гнев надо сохранить для будущего.

Среди народа я видел некоторых московских писателей. Они не рискнули появиться на даче у Бориса Леонидовича, но затесались в толпе на кладбище.

Когда гроб проносили мимо дачи Ильи Сельвинского, за забором стоял сам Сельвинский — старый, еще не окрепший после инфаркта. Он взглядом следовал за гробом Пастернака.

У могилы Ивинская была почти невменяема. Мокрое от слез лицо, волосы сползли на лоб и щеки. Она позабыла обо всем и, упав на грудь Пастернака, истерически кричала:

— Боря, прости! Прости-и-и!

Зинаида Николаевна стояла поддерживаемая Ниной. Она была величественней в скорби, как бывает, когда горе обращено во внутрь, когда горе столь велико, что всякое внешнее проявление не под силу.

После окончания похорон народ не расходился до темноты. Зинаида Николаевна со своими вернулась на дачу. Ушла и Ивинская. Оставалась молодежь. Студенты над могилой читали стихи Пастернака и свои собственные. Они это делали в каком-то взбудораженном состоянии, находясь не только в поэтическом, но и в гражданском экстазе. Их фотографировали иностранные корреспонденты, но пристойно: два-три снимка, не более. Зато репортер от КГБ с помощью агента не только снимал фотоаппаратами, но пускал в ход легкую кинокамеру.

В конце концов один из студентов схватил его камеру и закричал: «Ребята, они тут работают, эти чижики из КГБ!». Под-

нялся крик, началась потасовка. Студенты кричали: «Кто вам дал право снимать нас? Вон отсюда! Шпики!». Кагебисты расшвыряли и кричали: «А кто вам дал право устраивать здесь политические собрания? Щенки! Вы еще получите свое!».

В Москве мне рассказывали, что КГБ имел большой кинофотоматериал и установил личности почти всех присутствовавших на похоронах.

Спустя два-три месяца после смерти Пастернака я поехал в Болшево, в Дом творчества Союза работников кинематографии.

В кругах литераторов и деятелей искусства продолжали говорить о Пастернаке, о его смерти. Однажды мы гуляли по шоссе в группе с известными кинорежиссерами старшего поколения Сергеем Юткевичем, Юлием Райзманом, Марком Донским. Разговор коснулся Пастернака.

Марк Донской сказал: «Конечно, он во многом виноват, но он был хорошим поэтом. Мне жаль этого человека. Сколько несчастья он пережил. Он вероятно был самым несчастным человеком». Райзман улыбнулся и сказал: «А почему ты не думаешь о том, что он, быть может, был самым счастливым? Почему ты не думаешь о том, что ему удалось сделать то, что не удалось никому, решительно никому. Он опубликовал свой роман. И он опубликовал то, что он хотел написать. Я думаю, что он был самым счастливым человеком...». Донской растерялся и недоуменно смотрел на Райзмана. Потом сказал: «Ты, Юля, думай как хочешь, а я остаюсь при своем мнении».

Вскоре после смерти Пастернака один московский поэт написал стихотворение. Оно интересно потому, что автор — «преуспевающий» поэт, то есть работающий «по заказу», из тех, на которых опирается Поликарпов. Пастернак, его творчество, его смерть — это то, мимо чего даже твердокаменным трудно пройти. Совесть говорит где-то внутри.

Вот это стихотворение:

*День смерти Пастернака.
К ручью, на край земли,
Вдоль дач и буерака,
Его в гробу несли.*

*День славы Пастернака.
В тот яростный венок
Вплести бы два-три злака,
Да мака лепесток.*

*День казни Пастернака:
Расхристанные рты
И что не рот — клоака,
Хулы и клеветы.*

*День жизни Пастернака.
Житье... и житие,
Такое уж, однако,
Тысячелетие.*

*Кочуют грозы знойно,
И душно в дымной мгле.
Скажите мне, спокойно
Живется ль вам в земле?*

В тот памятный час, на кладбище я неожиданно для себя встретил людей, которых я знал прежде, но о которых я думал то, что, вероятно, они думали обо мне. Я называл их «послушными» и «ортодоксами». Так же они называли меня. Мы друг другу не доверяли и были осторожны.

И вот, вдруг, смерть Пастернака свела нас. Мы внутренне поняли, что мы единомышленники, что мы должны доверять друг другу, что мы должны объединяться, ибо только в этом наше духовное спасение. Несмотря на горе и печаль, мы улыбались друг другу, иногда только глазами, как улыбаются те, кто с радостью меняют мнение о человеке в добрую сторону.

Я встретил много таких улыбок и это было прекрасно.

Семья Пастернака

Вскоре после смерти Бориса Леонидовича Зинаида Николаевна, вместе с Ниной Табидзе, уехала в Грузию. Это было ей необходимо. Зинаида Николаевна провела несколько недель на даче у Леонидзе в Кобулетах, затем она вернулась в Тбилиси. В окрестностях Тбилиси, кажется, в Коджори, на второй даче Леонидзе, было устроено поминовение Пастернака. При-

ехали из Москвы Лёня и Стасик Нейгауз. На поминках было свыше пятидесяти человек.

Возвратившись в Москву, Зинаида Николаевна добилась создания комиссии по разбору литературного наследства Пастернака. Комиссию эту возглавил Всеволод Иванов, членами в нее вошли Эренбург, Вильям-Вильмонд и... Жаров. Вероятно, Поликарпов хотел иметь в этой комиссии «своего» человека. Однако, практически, комиссия ничего не делала. Работали только Зинаида Николаевна и Женя.

Дорого обошлась Зинаиде Николаевне работа над первым сборником стихов, который вышел из печати в шестьдесят первом году. Редактором этого однотомника была Н. Крючкова. Вместо предполагавшихся пятнадцати печатных листов книга вышла размером в десять печатных листов. Лучшие стихи поэта почему-то были выкинуты. Но все же, по настоятельному требованию Зинаиды Николаевны, изъяли вступительную статью Алексея Суркова.

Однажды, для того, чтобы Крючкова могла сверить стихи Пастернака, Зинаида Николаевна повезла в издательство полный чемодан прежних изданий. Зинаида Николаевна тащила этот чемодан и почувствовала себя дурно. Вернувшись домой, она пригласила доктора. Кардиограмма показала инфаркт. Срочно прилетела Нина из Тбилиси. Более трех месяцев пролежала Зинаида Николаевна в Переделкине.

В течение следующих трех лет Зинаиду Николаевну и детей навещало много иностранцев. Зинаида Николаевна решила быть осторожной и принимать иностранцев только в тех случаях, когда с ними приезжают советские официальные представители.

Бывали, впрочем, исключения. Однажды на дачу приехала французская студентка. Она училась в Московском университете и собирала материалы о русских боярах. Милая, худенькая француженка, откуда-то из провинции. Мы раза два вместе обедали на даче. Интересным было посещение дачи одним французским студентом, приехавшим в Москву в качестве туриста

на две недели. Его звали Ги, он привез из Лондона письма от переводчиков «Доктора Живаго»и, кажется, от Лидии Леонидовны. Он был не случайным визитером, очень любил Пастернака и сносно говорил по-русски.

Постепенно к Зинаиде Николаевне стали приходиться и те, которые раньше опасались. Но преимущественно это были все-таки жены писателей, а не сами писатели.

Простой же народ во всем выражал свою симпатию к Пастернакам. Это выражалось по-разному. Например, слесарь пришел чинить что-то, закончил и собирался уходить. Когда Зинаида Николаевна спросила его, сколько надо заплатить, он ответил: «Ничего».

Однажды зимой навалило снегу по колено. В Переделкине все остановилось. Все были заняты расчисткой снега и, естественно, трактористы с металлическими граблями были нарасхват. Они сами, эти трактористы, приехали к Зинаиде Николаевне и бесплатно очистили двор и дорогу к воротам.

Зинаиде Николаевне так и не удалось получить от Лихоталея копию кинофильмов о Пастернаке, хотя она прилагала много усилий.

У Пастернаков есть только одна граммофонная пластинка с записью голоса Пастернака. Зинаида Николаевна ею очень дорожила и проигрывала редко.

Через год после смерти Пастернака Зинаиду Николаевну навелит Сурков. Он приехал с женой, привез бутылку вина и был очень любезен и приветлив. Зинаида Николаевна высказала ему все, что у нее накопилось за это время. Она говорила и о пенсии, и об изданиях Пастернака, и о заграничном гонораре, и о даче, и о многих житейских делах. Сурков внимательно слушал Зинаиду Николаевну и делал пометки в блокноте. Он сказал, что все вопросы будут решены положительно. Он очаровал Зинаиду Николаевну. Она долго жила этими

надеждами. Однако ни один из вопросов не был решен. Правда, дачу не отобрали.

Твардовский, преодолевая сопротивление, добился того, что сборник всех поэтических произведений Пастернака был включен в план издательства «Советский писатель». Зинаида Николаевна и Женя потратили много сил и энергии на составление этой книги. Они собрали и сверили все стихотворные сочинения поэта.

Им очень помогло издание Мичиганского университета. В настоящее время — это единственное наиболее полное собрание сочинений Пастернака. Между прочим, мичиганское издание было прислано Пастернакам из США. Но они получили только три тома, а четвертый, с «Доктором Живаго», так и не достиг адресата.

Зинаида Николаевна и Женя подсчитали, что Пастернак написал всего двадцать тысяч строк. Они включили в сборник эти двадцать тысяч строк, так как речь шла о сборнике всех поэтических сочинений поэта. «Советский писатель» решил опубликовать эту книгу в своем ленинградском отделении. И вот начались проволочки, одна за другой. Из Ленинграда сообщали, что сверка стихов представляет трудность. Женя звонил в Ленинград, предлагал помощь, хотел выехать туда, но ему достаточно грубо заявили, что он не является с о с т а в и т е л е м . Некоторые стихи Пастернака, включенные Зинаидой Николаевной и Женей, не публиковались в СССР. Ленинградские «специалисты» не могли их сверить. А время шло. Издательство не торопилось. Договор по-прежнему не был подписан. Я помню как Зинаида Николаевна возмущалась безразличием и равнодушием людей.

После письма директору «Советского писателя» Лесючевскому, после звонков Твардовского, наконец, ленинградское отделение прислало Пастернакам договор. Но по этому договору почти половина стихов изымалась. А из гонорара сорок процентов удерживалось в пользу государства. И из остатка следовало еще заплатить по сорок рублей за печатный лист цензору — «составителю»!

Куда идти? Кому жаловаться?

Генсеку Федину? Зинаида Николаевна говорила мне, что ей трудно пройти мимо дачи Федина, а не только войти в нее.

Илье Эренбургу, с которым ее и Бориса Леонидовича в прошлом связывала дружба? Зинаида Николаевна была у Эренбурга вскоре после кончины мужа. Он сказал ей: «Сейчас не подходящее время для того, чтобы думать о публикации произведений Пастернака».

Николаю Тихонову? Была Зинаида Николаевна и у Тихонова. Этот встретил ее как сановник просительницу, и, конечно, на «вы», хотя всю жизнь они были на «ты».

Я видел этот договор, я держал в руках эти серые листки бумаги, которые явятся для исследователей красноречивым документом эпохи. Перед моим отлетом из Москвы Зинаида Николаевна сказала мне, что она не подпишет этот унижительный договор.

Материальное положение Пастернаков еще больше ухудшилось после того как театры, по приказу Хрущева, сократили представления шекспировских пьес. Это понизило отчисления в пользу переводчика. К сожалению, Зинаида Николаевна и дети Пастернака ничего не получали от публикаций Пастернака в странах «народной демократии».

Когда Твардовский получил письмо Зинаиды Николаевны с просьбой о займе, он немедленно позвонил и сказал, что готов дать Пастернакам деньги, но что это не выход из положения, и обещал сделать все возможное для решения вопросов о наследстве и издании сборника.

Летом шестьдесят третьего был готов барельеф, над которым работала скульптор Лебедева, и необходимы были деньги на оплату работы по сооружению памятника. Узнав об этом, Федин сказал, что в шестьдесят третьем году ССР не имеет денег на памятники. На могиле только мраморная доска с фамилией поэта.

К четырехсотлетию юбилею Шекспира издательство «Искусство» выпускало «Гамлета» в переводе Пастернака. К юбилею готовилось еще одно массовое, но дешевое изда-

ние. Это сулило некоторые материальные блага, но это не решало таких вопросов: как вернуть взятую ссуду в три тысячи рублей? как платить аренду за дачу? как покрывать ежемесячные расходы?

В августе шестьдесят третьего Зинаида Николаевна написала письмо Хрущеву, изложив в нем все свои горести. Письмо Хрущеву было крайней мерой и Зинаида Николаевна долго не решалась прибегнуть к ней.

Письмо Хрущеву обещал передать Корней Чуковский. Мне неизвестно, каков был ответ на это письмо, так как я улетел в Лондон.

О зарубежном гонораре Пастернака было много разговоров. Официально, судом были определены три наследника Пастернака: вдова и два сына. А вопрос о самом наследстве, находящемся за рубежом, не был решен.

Позицию советского правительства объяснить можно. Это — тупость.

Ну, а как с позицией Фельтринелли? Разве он не мог быть более активным? Надо было не давать покоя советскому правительству и несколько раз в год переводить деньги Пастернака в Московский банк на имя наследников. Не принимают? Сегодня не приняли, завтра не приняли, а послезавтра примут. Ведь каждый такой акт Фельтринелли мог сделаться достоянием общественного мнения. А в СССР с этим мнением все же считаются. И Фельтринелли это было известно.

Почему Фельтринелли не мог на два-три дня прилететь в Москву, хлопотать перед правительством и навестить семью Пастернака? Это ему, по совести говоря, следовало бы сделать раньше, или хотя бы написать им, узнать о том, как они живут, и сказать спасибо за те миллионы, которые сам Фельтринелли заработал на таланте Пастернака.

Я хочу закончить двумя небольшими воспоминаниями, связанными с семьей Пастернака. Первое относится к концу шестьдесят второго года. После встречи литераторов и деятелей искусства с Хрущевым в Московской консерватории все же была исполнена Тринадцатая симфония Шостаковича, в которой хор

мальчиков исполнял стихотворение Евтушенко «Бабий яр». Концерт имел огромный успех, его повторили, правда уже с изменениями в тексте, внесенными Евтушенко. Лёня был на концерте и приехал в Переделкино возбужденный. Мы играли в карты. За чаем он вдруг, смущаясь, сказал:

— Аплодировали Шостаковичу, Евтушенко и... и мне...

Оказалось, что многие, узнав сына Пастернака, окружили его и устроили ему овадию. Это говорит о том, что Пастернак был не только любимым поэтом, но и символом честности. Слушая музыку Шостаковича и стихи Евтушенко, многие понимали, а многие чувствовали сердцем, что это было чем-то не вполне достоверным, это была поэтическая ловкость в сочетании с виртуозной музыкальной техникой. И этого людям было мало. Вот почему они так отнеслись к сыну Пастернака.

Второй эпизод имел место весной шестьдесят третьего года. Евтушенко приехал к Зинаиде Николаевне с преуспевающим кубинским поэтом-переводчиком, который был влюблен в Пастернака и очень хотел посетить его дом и познакомиться с его вдовой. Кубинец был во всем белом, очень элегантный.

В то время Евтушенко «клевали». В разговоре с Зинаидой Николаевной он сказал:

— Вы за меня не беспокойтесь. Я скоро опять начну печатать свои стихи. Эти неудачи временны и к тому же...

— Они вас устраивают, — перебила Зинаида Николаевна. — Ореол мученика вам на руку. Нет, я за вас не беспокоюсь, Евтушенко, — иронически добавила она.

В кабинете Пастернака кубинец с трепетом осматривал все, что здесь находилось. Шкаф с книгами, конторку, стол, кровать, маску, слепок руки, бюст, вылепленный Маслениковой.

После этого Евтушенко, обратясь к вдове, произнес:

— Может быть вам что-нибудь нужно? Из вещей? Одежда? — Он указал на кубинца. — Его жена сейчас в Финляндии, но скоро приедет в Москву. Она может купить вам все необходимое.

— Мне многое необходимо. Но у меня нет денег, — ответила вдова.

— Деньги? Это пустяки, — проговорил Евтушенко и, снова указав на кубинца, добавил: — кабалеро очень богат. Вы не

стесняйтесь, он сочтет за честь помочь вам. Вы не стесняйтесь. Он же обожает Бориса Леонидовича...

Зинаида Николаевна, конечно, отказалась от подобной помощи, хотя Евтушенко и настаивал. С его точки зрения в этом не было ничего зазорного.

Затем он обратил внимание на лежащий на столе счет, по которому Пастернакам следовало уплатить шестьдесят или семьдесят рублей за аренду дачи. Это был очередной взнос. Евтушенко молча, но демонстративно взял счет и положил его в карман своего пиджака.

— Что вы делаете? — спросила Зинаида Николаевна.

— Я уплачу, — с подчеркиванием произнес Евтушенко.

— Извольте положить счет на место. Я в благотворительности не нуждаюсь, — сухо сказала Зинаида Николаевна.

Таков Евтушенко. Но и он прослезился над гипсовой маской Пастернака...

Улетая в Лондон, я провел последний день в Переделкине, у Зинаиды Николаевны. Она спала на веранде, тут стоял ее туалетный столик. Я обратил внимание, что среди других безделушек был и мой слоник, сделанный из слоновой кости. Эту миниатюру я привез Зинаиде Николаевне в подарок из Индии. Я подумал, что что-то от меня остается здесь. Но то большее, что я обрел в этом доме, я увожу с собой.

Я попрощался и с кабинетом Бориса Леонидовича, где работала в этот вечер Зоя Масленикова, разбирая заграничные письма, адресованные Пастернаку; их до сих пор сотни, даже не распечатанных.

В саду, перед самой террасой, лежала яблоня. Ударом молнии ее разбило на части, несколько больших ветвей упало на землю, не потеряв, однако, связи с корнем, и питание этих ветвей продолжалось, на них зрели отличные плоды. Повергнутая жизнь не умерла, она плодоносила...

Род Пастернака продолжался.

1964 год

НАСЛЕДИЕ

Т. Алексинская

Разбирая архив Ивана Алексеевича Бунина

Недавно мне довелось работать с моей гимназической подругой Верой Николаевной Буниной по разборке интереснейшего и ценного литературного архива ее мужа Ивана Бунина. Наша работа длилась около четырех месяцев в квартире Буниных, в одной из тихих улиц парижского квартала Пасси. Работали мы обычно в столовой, рядом с кабинетом писателя.

Больной физически и часто прикованный к постели, он не прекращает своей работы: продолжает исправлять экземпляры книг,готавливаемых для переиздания, просматривает все газеты и книги, которые ему присылают из разных концов мира, часто делает интересные пометки на полях. В этих пометках, порой весьма жесточких, ярко отражается его прямой характер. Он не считает нужным да и не может скрывать своих убеждений.

Память у Ивана Алексеевича необыкновенная. Заноса в опись архива иную статью, либо книгу, мы иногда затрудняемся поставить дату, но он сейчас же приходит нам на помощь и подсказывает нужное с изумительной точностью.

Разборка архива доставила мне много незабываемых минут. Удивляешься прежде всего обилию материала. Архив содержит пятьдесят четыре папки и свыше семи тысяч различных документов: рукописи, книги, письма, статьи русских и иностранных авторов о художественном творчестве Бунина, фотографии... Всего не перечтешь.

Вот рукописи самого Бунина, где каждая поправка, каждое исправление текста говорит о тщательной работе, которую проделывал Иван Алексеевич над каждым своим произведением, прежде чем оно увидит свет и даже после напечатания. Рукописи эти надо изучать внимательнейшим образом, чтобы понять тайну и силу творчества Бунина. Понять — до известной степени, так как самая суть творчества большого художника всегда остается «сокровенным» его души. Как-то А. И. Куприн сказал мне про Бунина: «Этот мастер слова иногда вычеркивает целые строки, которые мне казались совершенством, заменяя их еще более яркими, а я, вот, не могу так творить»...

Мне вспоминаются также слова молодого, талантливого (ныне покойного) беллетриста Л. М. Добронравова, автора «Новой бурсы», — он мне говорил: «Ныне в эмиграции все пишут, но как?! Наши классики каждую строчку обрабатывали. У Гоголя в первой редакции: «Вдали блестели золотые главы киевских церквей»... Творчество проявляется в отделке».

Будущие поколения станут внимательно изучать рукописи Бунина, чтобы понять всю сокровенную красоту русского языка.

В архиве имеется более двух с половиною тысяч писем русских писателей, поэтов, журналистов к Ивану Алексеевичу.

Порывистый Шмелев, как живой, проходит перед нами; расудительный Ходасевич; деловитый, порой язвительный Амфитеатров; увлекающийся Пильский; Наживин со своими несбыточными, фантастическими проектами; беспечный А. Н. Толстой («Третий Толстой»); доброжелательный Фондаминский (Бунаков); остроумный своими характеристиками некоторых лидеров-литераторов журналист Г. Волошин; а вот письма А. И. Куприна, большей частью грустные, особенно те, что датированы 1934 годом. Вот Бальмонт, кн. Барятинский, толстовец Булгаков, Гребенщиков, Кускова, Милоков, Осоргин, Степун, Тэффи, Иоанн Шаховской... Всех не перечислишь...

Генерал Деникин пишет: «Душевной теплотой веет от Ваших строк. Особенно ценны они теперь, на переломе русской жизни, когда меняются вехи, рвутся связи с близким прошлым,

поносятся и то хорошее, что все-таки было в нем. Ценны потому еще, что принадлежат они русскому писателю, которого я заочно привык любить и уважать... Дай Бог Вам силы преодолеть все трудности и невзгоды беженского бытия и вновь волновать наши души своими словами».

Бунину писали все его русские собратья по перу. Первое, что видно из этих писем, — они отдавали искренне пальму литературного первенства Ивану Алексеевичу. В одном из писем покойного Фондаминского мы читаем: «Грузенберг мне пишет: «Бунин великолепен, сильный, скорый, с юношеским “крепостоем”, он глушит всех следующих за ним беллетристов. Это погромщик, его надо прятать: не даст никому дохнуть» (письмо 1929 г.).

А вот что пишет Ивану Алексеевичу один старый литератор: «Любуясь Вашими выпуклыми, барельефными образами и чутко слушая Вашу так тонко отчеканенную речь, верую, что будет во веки веков жить, расти, цвести и светиться наша русская молва и не позабудется старая милая наша Россия».

А другой писатель — из молодых — говорит: «Вы, Иван Алексеевич, всегда были борцом за правду — за правду художественную и правду жизни».

Письма русских писателей дают порой печальную картину тяжелого положения тружеников пера в эмиграции. К Ивану Алексеевичу тянутся бесконечные просьбы — посодействовать, помочь устроить их дела. Из тех же писем видно, что хлопоты Бунина увенчивались успехом: у кого принята рукопись, кому послан аванс или выхлопотана государственная стипендия от одного из балканских государств. Иным он помогал и лично, выручая товарищей по перу в трудные минуты их эмигрантской жизни.

Очень обширен в архиве отдел иностранной прессы со статьями о творчестве Бунина. Он один занимает семь больших папок. Стихи и проза Ивана Алексеевича переведены на девятнадцать языков, включая эсперанто, еврейский, турецкий и китайский. С грустью приходится упомянуть, что некоторые иностранные издатели, издавая произведения Бунин, «забывали» довести об этом

до сведения автора и публиковали переводы его книг не только без разрешения, но даже без ведома автора.

Мировым апофеозом Бунина было, как известно, присуждение в 1933 году Нобелевской премии по отделу литературы. Документам, связанным с этим событием, отведен особый, очень большой отдел архива. Нобелевская премия не только увенчала литературную работу Бунина, но и показала отношение к нему читателей.

Нобелевская премия! Кому, как не Бунину, из современных русских писателей она должна была быть дана? Получение им этой премии превратилось в праздник русской культуры, а равно и эмиграции, которой суждено представлять эту культуру в различных концах света.

Приветственные телеграммы, торжественные адреса, письма от официальных лиц, от друзей, читателей и почитателей! Отовсюду и ото всех... Поздравления присылались и из тех государств Европы, которые в 1933 году еще не были во власти кремлевских коммунистических владык, и русские эмигранты, населявшие эти страны, могли тогда говорить и выражать свои мысли свободно: в Болгарии, Сербии, Румынии, Чехословакии, Эстонии, Литве, Латвии, Польше.

От кого только не получались приветствия! Научные учреждения, общественные организации, органы печати, библиотеки, университеты, гимназии, низшие школы, писатели, художники, музыканты, духовенство, адвокаты, врачи, сестры милосердия, инженеры, военные, учителя и учащиеся, шоферы, казаки и крестьяне...

В архиве вы увидите рядом с приветствием великого князя Кирилла Владимировича — письма двух дочерей Герцена; письма генерала Краснова и эсэра Фондаминского, В. Шулгина и Г. Гутника, председателя Еврейского Общества взаимопомощи в Бухаресте, — словом, от крайне правых до крайне левых. Говоря словами одного из читателей: «писателя связывают с читателем не личные отношения, а его произведения».

Особенный интерес представляют приветствия и письма не от официальных учреждений, написанные часто слишком «гладким» языком, а от широкой массы читателей и почитателей.

Некий П. начинает свое послание (на десяти страницах!) так: «Мне снилась даль, мне снилась сказка, мне снилась молодость моя»... Он вспоминает, как, будучи десятилетним мальчуганом, он жил в Ялте на Дарсановской улице на даче Терещенко, где в первый и последний раз видел Бунина. Теперь он обращается к Бунину, «человеку, потерявшему, как и он, свою родину»...

Одна почитательница таланта писателя пишет: ... «жизнь такая серая, нудная, тяжелая, и вот, среди этой беспросветности и среди этих серых будней, вдруг вспоминаешь: а ведь Бунин получил премию. Господи, как это хорошо, как чудно и сейчас же что-то горячее, радостное охватывает душу»...

Почитательница из Италии, полурусская, полуйтальянка, посылает Бунину романс — ее музыка на слова Ивана Алексеевича.

Из Базеля: «бывшие русские люди» — теперь кто швейцарец, кто француз, кто эстонец, кто латыш, кто поляк, а кто поданный «Полярного круга» — живет именем Нансена, — как кому Бог судил, — старые и молодые и разных профессий... «и вот от лица их шлем Вам простой, но горячий, искренний привет от всего сердца, полного радости и гордости».

Житель города Марселя пишет: «После тяжелого, длинного, утомительного дня, придя домой в свою каморку, устроившись в кровать, откроешь книгу и, читая, унесешься в рожь с васильками, в степь Елецкую и забудешь, что находишься в Марселе, даже запахи гумна, жнивье и прудов в памяти припоминаются»...

Из Ужгорода Подкарпатской Руси пишут: «Мы, русские изгнанники, уже давно присудили Вам наивысшую премию, какую вообще можно присудить на земле человеку: наше преклонение перед Вами, как перед крупнейшим из современных русских писателей, — и свою любовь и глубокое к Вам уважение»...

То же испытывают и другие почитатели таланта Бунина: «Вы меня не знаете, — пишет один из них, — мое имя Вам ничего не говорит. Но я чувствую себя гордым — я русский! Наш писатель отмечен за границей славой!»

Русские люди из Кальвадоса: «Исполать тебе, Иван, долго жить, добра да деток наживать, Бога не забывать, от людей чтиму быть. Любим тебя, гордимся тобой и земно кланяемся за ту радость, которую доставляешь нам во дни русской скорби.

Заводские рабочие люди.»

Библиотекарша из Вильно пишет: «Ура! Это было первое слово, которое я сказала рано утром, увидав газету — сообщение о премии Нобеля. Прочла и расплакалась от радости. Плачут иногда и от счастья. Это легкие, прекрасные слезы... Можно подумать, что эту премию получила я — до того я сияю. Простите, что пишу Вам, не будучи знакомой. Я хочу показать Вам, что так далеко, далеко от Вас в древнем Вильно люди, которые никогда Вас не видели, радуются за Вас и гордятся Вами, поздравляют друг друга Вашим именем: — «Поздравляю вас с Буниным!» — «И вас также!»

Отозвались читатели и почитатели с острова Явы, из Австралии, Сирии, Египта, Персии и других стран и городов русского эмигрантского рассеяния. Военные (вот, например, письмо от тридцати моряков во главе с адмиралам Пилкиным, или письмо атамана донского казачества А. П. Богаевского: «Вы, рыцарь могучего оружия — Слова, — будете всегда нашим соратником); дети, школьники-воспитанники Софийской гимназии, гимназисты города Лунца, избирающие Ивана Алексевиича Бунина «патроном» своего класса, малыши из детского дома в Болгарии и многие-многие другие...

Я не знаю, получали ли лауреаты других стран столько писем и т а к и х писем. Вряд ли, ибо в других странах литература все-таки не является тем национальным знаменем, каким она

была в стране Пушкина, Тургенева, Гоголя, Достоевского и Льва Толстого, и каким для нас теперь является имя Бунина.

То, о чем я упомянула, есть только небольшая часть того отдела архива, который относится к Нобелевской премии. Все другие части его не менее ценны.

Весь же архив в целом — ключ к пониманию творчества Бунина и удивительного общения между писателем-творцом и теми, для кого он пишет. Большая культурная сокровищница...

*Париж
25 марта
1953 года.*

Г. Петров

Забывтые юбилей

Мы мало, слишком мало отмечаем наши юбилей. А жаль. Ведь время наше — время поминовения прежде отошедших отцов и братий наших. Мы умудрены предсмертной мудростью бессильных уже сказать новое слово, сотворить новую жизнь. Но эта сумеречная спокойная мудрость тоже имеет и свою правду, и свою умиротворяющую печальную прелесть.

*Пора, мой друг, пора!
Покоя сердце просит...*

И мы можем сейчас, в хрустальную пору нашего безродного вдовства, многое переоценить, многому воздать по заслугам, а, главное, приложиться земле наших предков, чтобы почерпнуть хотя бы чужие — чужие ли? — силы для нашего среднего одиночества.

И другое: ведь всякий юбилей, всякая годовщина — вольное или невольное поминовение, а часто ли мы прикасаемся к нашей народной славе? Но вот прошли два столетних юбилей: со дня смерти Батюшкова и со дня рождения Гаршина, — и шестидесятая годовщина со дня смерти Лескова, а помянули ли мы их, ушедших из здешнего пестрого мира?

Мимо Батюшкова, мимо Лескова проходили целые поколения русских людей, вовсе их не замечая. Вот так, как будто их

и вовсе на свете не было. В каждой русской интеллигентной семье покоилась эдакой настольной библией «Русская муза» — чудовищная антология, составленная П. Я. И вот, в этой самой «Русской музе» было много Гольц-Миллеров, Андреевских, Фругов, а о Батюшкове прямо и откровенно было написано — ничтожество, мол, и приведено — даже не в антологии, а в заметке, в качестве образчика батюшковской бездарности и «земляничности», прелестное стихотворение «Вакханка»: смотрите, дескать, дети, на него: ну, можно ли так писать?! Разве это стихи?! Вот то ли дело:

*Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка темна...*

А Лескова именовали кривлякой, ретроградом, мелким очеркистом, изографом редкого, но случайного слова, — не любили его ни перечитывать, ни даже читать, а уж переиздавать совсем не любили...

Не то, совсем не то Гаршин: тут и мировая или надмирная скорбь, и сочинения его стали собственностью Литературного Фонда и переиздавались почти так же часто, как стихи Надсона, и годовщины его отмечались тем же Литературным Фондом, прогрессивно-мыслящими учителями гимназий, студенчеством, часто явно путавшими кое-какие повести Гаршина с «Ямой» Куприна: все равно, мол, об одном: о жертвах общественного темперамента и язвах буржуазного города... Благородно! — И небольшой, надтреснутый, но искренний голосок недоволившегося писателя окончательно увязал и глух в дремучей бороде великого слюноточителя Венгерова, мямлившего и умилямлившего о героическом характере русской литературы, да тонул в океане михайловских словоизвержений.

Теперь, когда все стало вверх ногами, когда не стало уже ни героического характера русской литературы, ни самой этой литературы, — легче расставить все по местам. В живом жилом доме всегда некоторая несправедливость и некоторая неразбе-

риха. А вот на кладбище — порядок, тишина, справедливость: мертвые все равны перед Полнотой Бытия...

Творческие эпохи всегда жилой беспорядочный дом. Мусоргский и Бородин восхищались блестящей музыкой пустого Листа и зевали на «Страстях по Матфею» Баха, возмущались «изменой» своего друга Корсиньки, когда последний засел за фути и инвенции великого Себастьяна. Да и сам упорный и дотошный европеец Римский-Корсаков скучал на больших концертных исполнениях Баха. Целое поколение — с Гоголем во главе — падало ниц перед лубочнейшим Карлом Брюлловым и прошло мимо строгой красоты державного Петербурга.

Что же? Можем ли мы осудить поколения, не заметившие Батюшкова и Лескова, но давшие нам расцвет русской музыки, Достоевского и Толстого, лучшие лирические философемы Тютчева, Н. Ф. Федорова и Вл. Соловьева, Чехова и расцвет русской науки, русского театра, русского права? Давшие, наконец, того же Лескова? Нет, творческие поколения — всегда «партийны», односторонни, несправедливы: любовь — всегда несправедлива: она всегда в ы д е л я е т, всегда предпочитает не по достоинству, а по сродству: не по хорошему мил, а по милому хорош.

А наш век, век ущербный, надломившийся, попросту померший в конце первой своей трети, оценил Лескова и Батюшкова чрезвычайно. Но к а к он оценил их? Любовались итальянской музыкой батюшковского стиха — и только. Смаковали узорочье лесковского сказа — и только. Есть ли это то, настоящее, чего ждет родивший произведение автор от «читателя в поколениях»? О, отнюдь не того ждет от читателя художник слова!

Умный и образованный, великолепный р а б о т н и к, воспевавший в своих статьях Сальери, Осип Манделштам очень высоко ценил Батюшкова. Батюшков для него не умер: он разговаривает с вологодским Анакреоном запросто: «ни на минуту не веря в разлуку», и, встретясь с поэтом на прогулке, —

*В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму, —*

рассказывает нам Мандельштам. Но и для Мандельштама Батюшков — «нежный», он «словно гуляка с волшебною тростью». Так смотрели на Батюшкова и его современники. А между тем Батюшков был большой и подлинный работник. Ему принадлежит заслуга создания новых поэтических и прозаических (жанров в русской литературе, например, эссеистики и литературно-критических статей об изобразительном искусстве («Прогулка в Академию Художеств»), ему принадлежит заслуга создания великой пластичности и мелодичности, и гармоничности русского стиха. «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков» — записывал Пушкин, и доказывал, что для выработки русского поэтического языка Батюшков сделал то же, что Петрарка сделал для итальянского языка.

Большой поэт нашего сегодня — Мандельштам, вторит через столетие Пушкину, посвящая Батюшкову одно из своих последних стихотворений, последних, увидевших свет:

— Ни у кого — этих звуков изгибы...

— И никогда — этот говор валов...

.....

Наше мученье и наше богатство

Косноязычный, с собой он принес —

Шум стихотворства и колокол братства,

И гармонический проливень слез.

Работа над языком для Батюшкова была непомерно тяжела. Ведь большой поэт, мастер необычайно энергического стиха и смелого образа — Гаврила Державин, — был в языковом отношении груб, как варвар. Батюшков обтачивает язык, чтобы создать пленительную звукопись и мелодическую легкость. Иногда — в письмах — жалуется поэт на наш природный язык, приравнивая его к «волынке или балалайке»: «И язык-то по себе плоховат, грубенец, пахнет татарщиной. Что за *ы*, что за *ш*, что за *щ*, *шии*, *щи*, *при*, *тры*? О, варвары!»

Он, патриот, и он тут же извиняется за то, что «сердится на русский народ и на его наречие», но он — каменотес, которому

необходимо из косной массы материи создать текущие и пластические, плавные формы. Он — инструментовщик, которому из хаоса первоначальных звуков необходимо создать превосходно оркестрованную симфонию. А творец не только облюбовывает материал, а и сердится на него. Работник, всегда работник. Одного дарования мало: нужна огромная европейская выучка. И не только чтение и подражание, но упорная сосредоточенная работа. «Воспевший Тасса» пишет в своей записной книжке (1817):

«Не надобно любителю изящного отставать от словесности. Те, которые не читали Виланда, Гёте, Шиллера, Миллера и даже Канта, похожи на деревенских старух, которые не знают, что мы взяли Париж, и что Москва сожжена до сих пор сомневаются. Но не надобно вдаваться в другую крайность. Не надобно беспрестанно слоняться из одной литературы в другую или заниматься одною древностью. И те и другие ш а л е ю т, как говорит мой чистосердечный Кантемир о сыгом и моте. Есть середина. ... Кто обнимет все творение ума человеческого и зачем? ... Талант не любопытен: ум жаден к новости, но что в уме без таланта, скажите, Бога ради! И талант есть ум: правда! Но ум сосредоточенный».

Европейская культура гуманиста Батюшкова — прямая предшественница пушкинской культуры и любознательности. Мало этого было и до, и после в русской литературе: русские не любопытны, — жаловался Пушкин. И это правда: настолько не любопытны, что мало кто разглядел, например, что основная мысль историософии «Войны и мира» заключена в этих же записях Батюшкова лета 1817 года. Это — записанный Батюшковым разговор с ним генерала Раевского:

«Из меня сделали Римлянина, милый Батюшков, — сказал он мне, — из Милорадовича — великого человека, из Витгенштейна — спасителя отечества, из Кутузова — Фабия. Я не Римлянин, но зато и эти господа — не великие птицы. **Обстоятельства ими управляли, теперь всем движет государь. Провидение спасало Отечество».**

Умный и стремящийся к европейской образованности Батюшков отлично знал, что работа по созданию собственного

национального литературного языка не может быть произведена карамзинскими путями прямой пересадки чужих форм, чужих словообразований, чужой мелодики, чужой системы понятий и образов:

«Каждый язык имеет свое словотечение, свою гармонию, и странно было бы Русскому или Итальянцу, или Англичанину писать для Французского уха, и наоборот». И Батюшков продолжает, ругаясь и кляня, высекать великую гармонию линий и форм из первозданного утеса именно р у с с к о й речи.

*Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов,
Тобою в чувствах оживаю;
Их выразить душа не знает стройных слов,
И как молчать об них не знаю.*

(1819—1820)

Как много здесь и пушкинского, и тютчевского! Какая перекличка и с песнью Вольсингама и с немوتствующим пониманием Тютчева! И какая звукопись!

А вот предшественница «Неба Италии, неба Торквата» и других итальянских канцон Боратынского: здесь все построено не только на мыслеформе, а и на изумительной мелодике и оркестровке, причем многократное и меднозвучное *P*, в сочетании с открытыми валторновыми *A* и *O* (ра, ро), засурдинены к финалу губными и глухими, создавая не спад, а музыкальное понижение (на это многократно указывали еще формалисты):

*Ты пробуждаешься, о, Байя, из гробницы
 При появлении Аврориных лучей,
 Но не отдаст тебе багряная денница
 Сияния протекших дней.
 Не возвратит убежищей пролады,
 Где нежились рои красот,
 И никогда твои порфирны колоннады
 Со дна не встанут синих вод!*

(1819)

Еще одно наблюдение: у Батюшкова музыкально-словесная ткань построена на делящейся мелодии-фразе, почти сквозной: на одном дыхании. Это — черта глубоко русская: русские протяжные песни. Впрочем, черта также и итальянская.

*Подруги милые! в беспечности игривой
 Под плясовой напев вы резвитесь в лугах.*

(1810)

Чего здесь больше? Русской протяжной песни или западной пасторали? Или, может быть, гармоническое слияние этих двух элементов в одно чудное звучание, связанное у нас еще и с действительно превосходной музыкой Чайковского?

Нет, перечтите, обязательно перечтите Константина Батюшкова! И за мудрым звучанием его стихов «виноградного мяса» вы увидите умную и страдающую душу подлинного поэта:

*О, память сердца! ты сильнее
 Рассудка памяти печальной
 И часто сладостью своей
 Меня в стране пленяешь дальней.
 Я помню голос милых слов ...*

Мы плохо, бесконечно плохо знаем нашу литературу. И поэтому — сознательно или бессознательно — но у нас все еще продолжают жить в душе если не оценки, то схемы и класси-

фикации позитивно-социологического направления, освященного именами от Белинского до Овсяннико-Куликовского. И марксистские благоглупости ничего нового к этим схемам не прибавили.

История русской литературы была подменена историей русской интеллигенции, вернее даже — той ее части, которая укладывалась в схемы «лишних людей» (Онегин, Печорин, Рудин и Лаврецкий, Обломов), «мыслящих реалистов» (Базаров), «кающихся дворян», народников и марксистов ... Ну, а великая внутренняя традиция русской литературы — от былин и сказок, житий и «Слова о полку Игореве», Аввакума и «Поморских ответов» — через Державина, Батюшкова, Пушкина «Бориса», маленьких трагедий и великолепной прозы; превосходной тяжелой лирики и эпоса Гоголя; великолепного эпоса первозданного рая Обломовки и Выборгской стороны, «Обрыва» и старых слуг Гончарова; через «глухие времена стенанья» Тютчева и философскую медитацию ученого В. Ф. Одоевского и неученого Лермонтова; через умный и прозорливый хрустальный холодок Боратынского и огнедышащую прозу Герцена и Константина Леонтьева — к величайшим вершинам нашей и мировой литературы — Достоевскому и Толстому, а затем — поворот к почвенному, коренному, к дониконовскому — сначала — славянофилы и Данилевский, Аполлон Григорьев; затем — отчасти Мей, Вельтман; наконец — недооцененный еще Эртель и великий сказитель Лесков. В наши дни — Клюев, Чапыгин.

Одновременно — русская романтика, настоящая, идущая от русского нутра, хотя часто в западной оболочке: Фет, Полонский, Блок; русская трагически-философическая лирика — тот же Фет, Случевский, Сологуб, Блок; начатки неоклассицизма — Мандельштам.

И вот, изучая русскую литературу во всем многообразном цветении ее, необходимо очень и очень взглянуть в центральную для замечательного русского сказа фигуру Лескова. Традиция великолепного русского дворянского языка мемуаров конца XVIII и начала XIX веков; народный сказ — сказочный, песенный, бывальщинный; цветники и вертограды рукописные староверьья; книжно-церковная традиция; южно-русская речевая и письменная

культура; отчасти — русская литературная традиция, притом в боковой ее линии: Вельтман, Погорельский, немного — физиологические очерки Казака Луганского — Даля.

Наконец, — огромная наблюдательность мыкающегося по всей России писателя. От Лескова пошел Ремизов, во многом пошли в своем раннем периоде Замятин, Пильняк, Серапионовы братья. Лесков — огромная веха на поворотном пути русской литературы — он перекидывает мостик к исконной, подлинной Руси. Делал это и Мельников-Печерский, но дарования не хватило.

Прежде всего диву даешься широте лесковского диапазона. Тут и излюбленный корневой быт духовенства — «Соборяне», «Мелочи архиерейской жизни» — и в корне чуждый и противоположный, казалось бы, жизненный строй и речевая культура василеостровских немцев — поразительные особым уютно-патриархальным лиризмом «Островитяне». Тут и старо-барский уклад Пломасовых — и русско-украинский мягкий юмор «Печерских антиков», «Фигурь», «Заячьего ремиза». Тут и староверский домострой и патетика «Запечатленного образа» — и разбойно-гулевая и страннически-подвижническая стихия «Очарованного странника». И чиновничий сказ, и сказ ремесленников и заводских рабочих. И рассказ о купеческой жизни — не в стиле поверхностного Островского, а трагедийный («Леди Макбет Мценского уезда») или гомерический («Чертогон»); тут и драма сводни, поданная всерьез и изнутри, без тени морализирования («Воительница») — и подлинные святые, те самые праведники, на которых и земля-то стоит. И где только нет этих праведников! И в «Кадетском монастыре» — и на дальнем севере, среди язычников («На краю света»); и среди духовенства — и в дальнем глухом городишке, удаленнейшем от всего света, среди квартальных и городничих («Однодум»); и в среде местечкового еврейства, и в украинском селе...

И каждый герой Лескова говорит ему — и его положению и происхождению — только свойственным языком. А какие гомерические образы, прошедшие, впрочем, через призму гоголевской патетики! Вспомним хотя бы совершенно необычайную картину купанья в «Соборях» (начало главы шестой первой части). А смешанный русско-украинский язык,

на который даже беззастенчивый в этом отношении Гоголь не решался!

И что превыше всего при художнической жестокости глаза (все видит, ничего не спускает, не прощает — все наружу, на свет!) — какая жадная, неуемная любовь к жизни! Какое всепрощение и какой равный свет чистым и нечистым, праведным и грешным! Вот умирает в сумасшедшем доме помешавшийся на слежке и доносительстве Перегуд. И кончается «Заячий ремиз» изумительным аккордом: «Но Перегуд «победил смерть», он давно устал и сам давно хотел уйти в шатры Симовы. Там можно спать лучше, чем под тяжестью пирамид, которые фараоны нагромоздили себе руками рабов, истерзанных голодом и плетью. Он отдохнет в этих шатрах, куда не придет угнетатель, и узнает себя снова там, где угнетенный не ищет быть ничьим господином... Он ощутил, что его время пришло! Перегуд схватил из своих громаднейших литер Глаголь и Добро, и вспрыгнул с ними на окно, чтобы прислонить их к стеклам... чтобы пошли отраженья овамо и семо. «Страшное великолепие» осветило его буквы и в самом деле что-то отразило на стене, но что это было, того никто не понял, а сам Перегуд упал и не поднялся, ибо он «ушел в шатры Симовы».

Ну, разве не великолепно, чем та же ситуация (финала) в «Красном цветке» Гаршина? И совсем, совсем другое... И всем светит солнце: и Перегуду, и праведникам, и Катерине Измайловой и плодомасовским умильными карликам. И над всем миром скорбного и неувеличивого бывания — пребывающая во веки целая и внутренне-умудренная сказка. Недаром сам Лесков так любил ее, так много легенд и сказок оставил нам — легенд из петериков и пролотов, из цветников и маргаритов. Недаром Лесков заповедал нам, словами плодомасовского карлика Николы и блаженнославного протоиерея Туберозова: «Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старой сказкой. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость!»

За великим сказителем Лесковым потянулся к сказке и легенде большой русский писатель Ремизов. Может быть, един-

ственно большой из писателей, живших и живущих в эмиграции. Во всяком случае, лучший мастер языка. И в этом — великая правда и великое обновление культуры: приложиться земле предков. Да в легенде, в сказке заключена всегда великая и устойчивая правда.

Я вас спрашиваю: ну, какую там «научную» историю хотите вы построить? Бросим все эти социологические мудрования, Сорокиных и прочих. Бросим набившие оскомину разговоры о случайном и закономерном в истории, о критически или кретинически мыслящих личностях и прочий ветхий хлам замозеленных мыслей. Никогда не бывать истории наукой! А социологии — той просто никогда не состояться. Будет всегда философия истории — и история, как жанр исторической литературы. Как искусство. Каким, например, мастером формы и сказа был хотя бы Ключевский!

«Голые факты»? Их могла придумать только нищая мысль отвыкшего думать и размышлять человека. То есть человека наших дней. Нет их — голых фактов, да и вообще фактов нет! Действительность является м н е , и я выбираю из нее то, что мне на потребу. Еще старик Кант говаривал, что природа нам ничего с а м а не говорит, а лишь отвечает на поставленные нами вопросы.

Ну, а к а к мы ставим вопросы — дело известное: посмотрите, например, как мы гадаем: мы подсказываем гадалке ответ, желанный нам. Дважды два четыре? Голый факт? Ну, мы не спорим против таблицы умножения потому только, что нам эти факты безразличны: наплевать: четыре — так четыре! А если бы от этого что-либо важное для нас зависело, то, уверяю вас, была бы теория, утверждающая, что дважды два, скажем, пять.

А уж история — чистая творимая легенда! И это было бы вовсе не плохо, если бы творили ее сознательно по легендам, а не старались бы брать «голые факты». «Против фактов, мол, не попрешь!» А еще как прут-то! Все прут. Какие тут могут быть факты, когда приходится обращаться к «историческим источникам»? Ну, а источник, вестимо, дело партийное, всегда пристрастное.

Если применить метод «сравнения» прямо часто противоположных известий и принятия чего-то среднего — опять ничего не получится: из прямо противоположных одинаково брехливых версий не выведешь истины... Сейчас в особенности каждый перевирает события на свой лад. Но и раньше было, в общем, то же. Вы скажете, что история писалась раньше отрешившимися от мира монахами, кои, мол, как Пимен у Пушкина —

*Спокойно зрят на правых и виновных.
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.*

Как бы не так! У того же Пушкина, умного и зоркого Пушкина, а не его толкователей и извратителей, Пимен не фонограф, не машина, а человек из плоти и крови, человек, которого мы иной раз и на старости лет —

*...чудятся то шумные пиры,
То ратный стан, то схватки боевые,
Безумные потехи юных лет!*

Он, бывший царедворец грозного царя Ивана, он, боярин, может стать, насильственно постриженный в иноки, — может ли он вполне отрешиться от всего? Даже святость не есть совершенство во всех отношениях — ветхий Адам говорит сильно: «во плоти дано мне жало», — свидетельствует столп христианства, сам апостол Павел, а вы ждете какой-нибудь объективности от ученого монаха из бояр?

Нет, нет голых фактов — и механическое сличение источников не может помочь. Противоречивая путаница расплзающихся в разные стороны свидетельств — плохая опора. Но вот есть легенды, сказания, в которых отстоялось всенародное осознание исторического события — не поверхностная хроника де-лишек, а глубинная народная история, как живой и единый процесс. Как *идея*.

И вот в этом-то самом смысле великий сказочник-сказитель Лесков дает нам для постижения прошлого неизмеримо больше, чем поверхностные скукодейные истории русской культуры Милюкова и другие прочие...

Ведь творческое художественное восприятие жизни, политически, практически и даже религиозно значительно менее корыстное, менее заинтересованное, чем публицистика, история, социальная мысль, чем летопись, наконец, — более правдиво внутренне и более содержательно и живо. Не только художественная, но и познавательная ценность Лескова — огромна.

После очень больших и сильных трудно говорить о талантливом, но не состоявшемся, о больше обещавшем, чем сделавшем. И все-таки о Гаршине забывать не следует. Ведь забываем мы его только за то, что он старомоден, за то, что он шел как раз по той, фаворитизированной раньше дорожке «гражданской скорби».

Но ведь это не полная правда. И некая — хотя и неполная — правда была и в этой самой душевной скорби, гражданской слезе. Была большая правда морального пафоса, горения, самоотверженной отдачи себя. Сейчас мы стали больно здорово умны и самонадеянны — даже маленькие ревельские стареющие гимназисты выступают в тоге розановского скепсиса и автономии эстетических ценностей. Даже парижане поплеывают — кто на Некрасова, кто на русскую классику до... Поплавского...

Не будем торопиться сбрасывать с нашего вооружения до надтреснутости приподнятый голос русской «гражданской» литературы. А у Гаршина мы найдем много и другого: великое сомнение в допустимости художественного творчества — не греховно ли оно по самой природе своей? («Художники»). Этот вопрос будет мучить многих — от Толстого до Блока, Клюева и Мандельштама. И снять его с повестки дня мы не имеем права.

У Гаршина мы найдем превосходный рассказ «Медведи», хорошие военные психологически весьма тонкие зарисовки, найдем очень большую душевную чистоту и яснодушность прозы, а мы уже снова — после сатанистских балаганов и богоборческой дешевки — начинаем вздыхать по чистоте и ясности...

Нет, не будем сбрасывать с нашего вооружения Гаршина! Лучше же помянем добрым словом и перечитаем больших и меньших, но искренних и **н а с т о я щ и х**, не сделанных полуграмотной критикой, а сказавших — в меру сил своих свою правду.

Поминовение — начало воскрешения. И в этом его правда и значение. Воскрешение же и прежде отошедших, и нас — омертвевших уже при жизни.

Юрий Терапиано

«Смотр»*

Из моего литературного архива

В начале тридцать восьмого года Зинаида Гиппиус затеяла особое литературное начинание: «опыт свободы» — серию сборников, не зависящих ни от каких литературных или политических группировок.

Выбор участников для первого сборника она тоже окружила некоторой таинственностью.

«Во избежание обид (но, конечно, они будут), я держу точный список приглашенных про себя», — пишет она мне шестнадцатого февраля, посылая «билет» для участия в сборнике.

«Каждый о нем, очевидно, догадывается, но только догадывается, а потому я ему и не рекомендую со «в с е м и» говорить о полученном билете на данное представление.

Другое дело принципиальная записка о нем: ее должны знать именно в с е и ждать, чем кончится этот «опыт свободы».

Дело, конечно, ответственное; я не сомневаюсь, что тут каждый покажет себя в своем самом ему дорогом и важном».

К письму был приложен «билет» и отпечатанная па пишущей машинке «инструкция», на левой стороне которой, сбоку, рукой Гиппиус, крупными буквами: «Опыт свободы».

* Литературный смотр. Свободный сборник. Редакторы: З. Гиппиус и Д. Мережковский. Париж 1939.

«Тот, кому предложено участвовать в сборнике «Смотр» — дает материал, свободно избирая как содержание, так и форму (стихи, беллетристика, воспоминания, статьи литературные, критические, политические, философские др.) — в пределах одного и половины печатного листа.

Редактор печатает материал в том виде, в каком его получает. Советов не дает (если автор их не спрашивает). Поправки могут быть сделаны только автором.

Так как предполагается, что каждый автор, блюдя собственные интересы, сам находит меру ограничения своей свободы, то лишь в особо исключительном случае, при обстоятельствах, от редактора не зависящих, последний может попросить автора взять свое произведение обратно.

Доставленный материал никому до напечатания редактором не сообщается, но, конечно, сам автор свободен это делать, при желании.

Если издание окупится и даст некий излишек (что во многих отношениях зависит от авторов) этот излишек, смотря по общему решению, или делится между участниками поровну (кроме редактора), или сохраняется, как фонд, для издания следующего номера Сборника».

Вполне естественно, разговоров о задуманном Зинаидой Гиппиус «опыте свободы» было много — не только среди получивших «билет», но и на всем «Монпарнасе» (хранить тайну были способны не многие!); однако, как это часто бывает, неожиданная возможность высказать «свое самое заветное» смутила многих.

В течение ряда лет писатели всех литературных поколений, и «старшего» и «младшего», привыкли жаловаться на редакторскую цензуру, на невозможность высказать полностью «то, что думаю», без оглядки на целый ряд условностей и так далее.

Когда же «свобода» вдруг далась им в руки, дело оказалось не столь легким.

О чем писать?

Дать просто какое-нибудь свое произведение из числа тех, которые «не подошли» по каким-нибудь причинам «обыкновенным» редакциям? — но для подлинного «опыта свободы» этого как будто мало.

Не менее соблазнительна была возможность высказаться о некоторых литературных явлениях «без цензуры», поднять, например, вопрос о положении зарубежных писателей именно с точки зрения свободы, указать на ряд недостатков журналов и газет, поколебать чей-нибудь литературный треножник, — но вся эта злоба дня для «Смотра» явно не годилась, явилась бы снижением темы.

Оставались метафизика и философия современных событий — постоянные темы воскресных собраний у Мережковских.

О метафизике, кстати сказать, в то время действительно было трудно где-нибудь говорить, такие статьи «обыкновенными редакциями» принимались весьма неохотно.

Левая пресса, настроенная позитивно и скептически в отношении «всякой мистики и суеверий», естественно, для метафизиков была «чужой», а правая придерживалась в вопросах духовных церковно-ортодоксальной точки зрения и никаких «еретических рассуждений» не допускала.

В специальные же издания, как, например, религиозно-философский журнал «Путь», литераторов — и «старших» и «младших» одинаково не допускали.

Этим обстоятельством и объясняется то, что сам Мережковский, несмотря на свое положение в русской и иностранной тогдашней литературе, лишь с большими усилиями мог печатать произведения последнего периода своего творчества, сплошь посвященные как раз метафизическим вопросам.

Недаром Зинаида Гиппиус, в конце своего предисловия к «Смотру», называет этот сборник «салонем отверженных»:

«Этим объясняется участие в нем двух писателей «старшего» поколения: один, несмотря на то, что книги его переводятся почти на все существующие языки, вплоть до японского и даже эсперанто, такой же «отверженный» для русской эмигрантской печати, как и молодые его соседи по книге: так же,

как они, он не имеет возможности печататься ни в одном парижском журнале, ни газете».

Если память мне не изменяет, Зинаида Гиппиус одна из первых выполнила «заказ», написав для «Смотра» вступительную статью «Опыт свободы».

Впрочем, в то лето у нее было много свободного времени.

Материальные дела Мережковских были не в блестящем состоянии, им не удалось даже уехать на отдых на юг, они должны были проводить лето в Париже.

В начале своего письма от четвертого июля, Зинаида Николаевна пишет с иронической горечью:

...«Наши обстоятельства так «сузились», что мы никуда не можем двинуться, (хуже последней кухарки); принуждены сидеть в Париже.

Воскресенья опустеют, но не закроются: всегда найдется кто-нибудь либо еще не уехавший, либо уже вернувшийся.

Я, по крайней мере, на это надеюсь.

Очень хочу прочесть вам предисловие к «Смотру».

Не знаю, не усилить ли резкость правды?

А, может быть, не нужно».

В этом вступлении Зинаида Гиппиус, характеризуя «первый опыт свободы слова» в эмиграции, подводит итог довольно печальному состоянию зарубежной прессы в Париже в тридцать восьмом году:

«Русская пресса сжалась, изменилась и количественно и качественно. К половине тридцатых годов у нас оказалась одна единственная газета (с ее собственным журналом), и один уцелевший толстый журнал, выходящий раз в три — четыре месяца. Таким образом, возможность печататься (да еще свободно) для большинства «молодых» отпала».

От «недостатка места» страдали преимущественно тогдашние «младшие» писатели, им приходилось считаться с наличием немалого числа «старших» с которыми им было не под силу конкурировать.

Поэты, в виду почти полного отсутствия «старых стихотворцев», как говорит Зинаида Гиппиус, принимались более

охотно: «Много места стихи не займут, вещь они всегда безобидная».

Нужно пожалеть, что «Смотр» стал теперь библиографической редкостью.

Современным читателям, особенно из числа «новой» эмиграции, было бы важно, например, прочесть и продумать «Опыт свободы», особенно те пассажи, где Зинаида Гиппиус, с резкой беспощадностью и с большой точностью, говорит о свободе слова в эмиграции и в прежней России, а главное, — о мере этой свободы, о ее истинном значении.

«Пусть не говорят мне, что в России, мол, никогда не было свободы слова, а какой высоты достигла наша литература!

Нужно ли в сотый раз повторять, что дело не в абсолютной свободе (абсолюта вообще и нигде не может быть, ибо все относительно); мы говорим о той мере свободы, при которой возможна постоянная борьба за ее расширение.

Довоенная Россия такой мере во все времена отвечала: даже при Некрасове (его борьба с цензурой велась открыто и успешно); о годах нового века нечего и говорить...

Но признаем: общая свобода в России прогрессировала медленно, и понятие ее медленно входило в душу русского человека.

Он, — не писатель только, а вообще русский человек, — не успел еще ей как следует выучиться, когда всякую школу захлопнули...»

Не менее ясно Зинаида Гиппиус поставила «точку над і»; в отношении условий жизни писателей «младшего поколения».

Писатели и поэты новой эмиграции, с самого начала оказавшиеся в атмосфере всеобщего внимания и, особенно, читатели из той же среды, вероятно даже не представляют себе, какой ценой покупали себе право на творчество «парижские эстеты» (как думают они), собиравшиеся в двадцатых и тридцатых годах на Монпарнасе.

«Когда бывший военный, офицер, делается шофером такси», — писала Зинаида Гиппиус, — «это не так уж плохо: воевать и

служить ему все равно негде, нет ни войны, ни русского полка. Но если молодой интеллигент, со склонностью к умственному труду и со способностями или талантом писателя убивает себя то на малярной работе, то делается коммивояжером по продаже рыбьего жира для свиней ... — это дело как будто иное... Мне возразят, что и в старой России начинающий писатель не мог жить литературой; и что некоторые из больших наших писателей терпели, в юности, жестокую нужду, — Некрасов, например.

Это возражение легко отвести уже потому, что русские в России — одно, а русские в чужой стране — совсем другое. Тогда, там, отдельные начинающие писатели могли гибнуть (и гибли, вероятно), но чтоб гибло целое литературное поколение — об этом и мысли быть не могло».

Рукописи для «Смотра» поступали медленно.

И хотя все авторы, каждый по своему, были полны доброй воли, все же «Опыт свободы» получился не таким, каким его хотела бы видеть Зинаида Гиппиус.

В первом выпуске помещены произведения десяти авторов (одиннадцатой — сама З. Гиппиус): Г. Адамович — О самом важном; В. Мамченко — Движение любви; Ю. Фельзен — Перемены. Он же — Прописи; Ю. Мандельштам — О любви; Дион — Лошади едят сено; Л. Кельберин — Начало; Ю. Терапиано — Жизнь; В. Зензинов — Генриэта; Л. Червинская — В последнюю минуту. (В оглавлении, ошибочно: В. Червинская); В. Злобин — Человек в наши дни.

Нужно заметить, что отрывок из романа Ю. Фельзена и «Генриэта» В. Зензинова (рассказ о единственной настоящей любви известного авантюриста Казановы) только с натяжкой могут быть названы «опытом свободы» — эти произведения, без всякого препятствия могли быть помещены в любом тогдашнем журнале или в газете.

Сознавая, видимо, это, Фельзен и прислал еще дополнительную статью «Прописи», изображающую в несколько схематической форме положение эмигрантских писателей, работающих почти в полном одиночестве, но все же способных творить «живое искусство».

Столь же мало «революционным» оказался и Дион (если не ошибаюсь, псевдоним одного не-парижского писателя), повторивший в своей статье «Лошади едят сено» общие места об абсолютной ценности человеческой личности, — в чем его тоже не упрекнул бы ни один из «а-литературных редакторов», как назвала их в «Опыте свободы» Зинаида Гиппиус.

Тут, сама собой, в «Смотре» возникла разделяющая черта.

«Самое важное» большинства участников «Смотра» оказалось вне з л о б ы дня.

Говорить с «гражданским пафосом» — «о Гитлере само собой разумеется, — как же сейчас без Гитлера! О большевизме... о священных правах индивидуума, о поэзии, как тихом убежище или боевом фронте, в зависимости от темперамента» (Г. Адамович — О «самом важном») — этим авторам показало нецеломудренным, претенциозным.

На это едко намекнул Георгий Адамович в конце своей статьи: «... если во мне — в любом из нас — что-то еще теплится, я безотчетно задуваю огонек, едва беру перо в руки».

Георгий Адамович подчеркнул расхождение между «мыслями» и «мыслями-чувствами», между исповедуемыми на словах «идеалами» и личным эгоизмом, безразличием:

«...Потому нам и остается только бросать в океан бутылки и отделяться вздохами, что наше «самое главное» — лишь призрачно, обманчиво наше. Для публичных парадирований мы берем его напрокат, а дома сбрасываем маскарадный костюм и облачаемся в халат. В лучшем случае: это наши мысли, но это не наши мысли-чувства, — разница «дьявольская».

Сейчас, кажется мне, не так важны конкретные сюжеты каждой статьи, а самая «музыка» душ, то, что каждого из авторов наиболее задевало, тревожило.

В этом смысле все авторы, — совсем разные и непохожие друг на друга, связаны тем не менее каким-то общим внутренним сговором и, если так можно выразиться, общим всем тогдашним «парижанам» недостатком — несовпадением между «мыслями» и поступками, между «идеологией» и волей для конкретных действий.

Поэтому, вероятно, абстрактные, отвлеченные вопросы или личные высказывания на тему о любви, о жизни и т. п. особенно их привлекали, — как раз в то время, когда, казалось, нужно было действовать, кричать на всех перекрестках, бороться за *идею свободы гражданской*.

Но, несмотря на такое отвлеченное, созерцательное настроение, эпохе не созвучное, «парижане», участвующие в «Смотре», возносят свои мысли над злобой дня не только потому, что все они — неисправимые мечтатели, а потому, что в их ощущении никакая злоба дня не может стать «самым главным» для человека, стоящего перед вечными вопросами: о присутствии Христа в мире, о смерти, о внутренней свободе, о творчестве.

Необходимо отметить, что авторы, так или иначе касавшиеся вопроса о христианстве (В. Мамченко. Л. Кельберин, и т. д.), подходят к нему совсем не так, как Мережковский и Гиппиус, для них человечность Христа и Его отношение к людям значительнее, чем «Тайна Трех», наступление «Третьего Завета» и эсхатология.

Невозможно было бы пытаться дать хотя бы общее представление о содержании каждой из десяти статей авторов «Смотра», такой пересказ равнялся бы насилию над ними.

Поэтому я остановлюсь только на «музыке душ», на трех наиболее типичных высказываниях поэтов — В. Мамченко, Ю. Мандельштама и Л. Червинской, связанных общей темой «о любви».

В. Мамченко задет равнодушием человечества к самому высшему и драгоценнейшему, что было в мировой истории — явлению Христа.

Почему они «допустили» тогда, почему и сейчас, все мы (не те, кто отрицают, а именно те, кто веруют) по существу так же покорны «злу и злым законам жизни», почему и *мы* предаем Его на каждом шагу?

«Чего стоит история, общество, знание и так называемая государственная культура, если ни одного живого вздоха не прибавляют они человеку, задыхающемуся в судорогах гибели? Если бы они были истинными — в них явлено было бы

движение Любви; но движение это приходится искать далеко, в иных местах, местах прямо противоположных тем, какими гордится нынешний человек — устроитель нынешней жизни?.. Зло за зло: зло плюс зло, — зло. Но как убедительно внушает чудовище, что будет добро! — Где оно, добро? Когда? Завтра? Но ведь уже тысячелетия длится такое «завтра»... Лишь в движении Любви не так: там нет чудовищного страха — история Сына Божьего — Сына Человеческого — тому порукой».

Ю. Мандельштам говорит о земной любви, о бесконечном многообразии ее содержания, «о чем так значительно сказал Жак Шардонн: «Любовь — гораздо больше любви».

В этом высказывании тоже важны для нас не отдельные мысли, не цитаты, а общий «трепет», общая взволнованность души автора, сочетание подъема, восторга, грусти и горечи.

— «Ах, это тот, кто выдумал эту глупую любовь!» — воскликнул уже безумный Гельдерлин, которому показали бюст Платона. И все же — сущность любви, всегда духовно-телесной, в своем пределе неизменно выходит за рамки телесности... От нас зависит сделать нашу любовь бессмертной. Эпитафия Стендаля: «Анри Бейль. Жил, писал, любил» — наиболее достойный надгробный памятник...

Статья Лидии Червинской: «В последнюю минуту» — о компромиссе совести и чувства в творческом плане, об «опыте свободы, сестры одиночества» — замечательна по тону и очень талантлива по форме.

С точки зрения чисто литературной, это, вероятно, лучшая вещь в сборнике, но начало литературное у Червинской находится в полном равновесии с ее личной «нотой».

«Но — искусство? Невозможное без вдохновения, «святое искусство»? Оно прежде всего, серьезно — это искусство. Вдохновленное серьезностью, оно прислушивается, предчувствует, приближает тему каждого нового дня.

Настоящее искусство современно, и этим вечно.

Не такими ли сегодня кажутся строки:

*Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви ...*

Совість тоже бывает гениальной...

Трудно сказать, в чем тема нашего дня. Но «тональность» его сурова.

А нежность? Она не исчезла из мира, но как влага испарилась с поверхности земли. Быть может, для того, чтобы пролиться когда-нибудь новым дождем»...

События в Европе шли своим путем — тучи сгущались все больше и больше, почти никто уже не сомневался, что дело кончится катастрофой.

Мережковский и Гиппиус с волнением всматривались в будущее.

Они хотели бы «огня Данте, гнева Мицкевича», появления поэта, который бы «глаголом жег»...

В последнем письме Зинаиды Гиппиус по поводу «Смотра», от 8 ноября 1938 года, звучит нота разочарования «нами» и даже некоторого недовольства:

«Сегодня я получила, наконец, известие, что наш первый «Опыт свободного слова» реализуется. Подготовка его должна начаться немедленно, так как, во-первых, это должен быть опыт действительной свободы каждого, и во-вторых, так как со дня возникновения мысли о подобной книге прошло много месяцев, чреватых всякими событиями, которые могли произвести у некоторых участников перемещения центров их интереса, я и предлагаю, вам, например, вопрос: не желаете ли вы воспользоваться этим случаем полной независимости и печатной свободы, чтобы, оформив, уяснить себе и другим ваше отношение к тем или другим мировым событиям? Быть может, это вам хочется сделать более, чем что-либо другое с е й ч а с ?.. Все, однако, по вашему желанию. В этом тоже смысл «Смотра». Идеал его, как всякий идеал, недостижим. А был бы, конечно, если бы писатель, в том состоянии, о котором говорит Лермонтов, мог сказать:

*Тогда пишу. Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум:
То соблазнительная повесть
Сокрытых дел и тайных дум ...*

*Оставив «идеалы», вернемся к маленькому, худенькому дан-
ному, чтобы хоть им удовлетвориться ...»*

«Смотр» вышел летом 1939 года, почти перед самой войной.
14 июня скончался Владислав Ходасевич — первая тяжелая
утрата литературного тогдашнего Парижа...

Кажется успел появиться только один — плоско-глумливый
отзыв о «Смотре», затем началась война, и следующий выпуск
был отложен Зинаидой Гиппиус «на неопределенное время»...

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. Неймирок

О Бунине

«Стихи Бунина, как и других эпигонов натурализма, — писал в «Аполлоне» Гумилев, — надо считать подделками, прежде всего потому, что они скучны, не гипнотизируют. В них все понятно и ничего не прекрасно.

Читая стихи Бунина, кажется, что читаешь прозу. Удачные детали пейзажей не связаны между собой лирическим подъемом»¹.

Давая столь резкую оценку стихам Бунина, Гумилев был далеко не одинок.

Есть ходячее мнение: Бунин-поэт уступает Бунину-прозаику. Сам Бунин этого мнения не разделял; по праву ли? Да, скажем мы, по праву. Уже не говоря о том, что сама бунинская проза исполнена поэзии, не относятся ли и стихи Бунина (пусть не все: кто станет корить его юношескими грехами?) к лучшему, что создано русской поэзией?

Чтобы судить о бунинских стихах, особенно важно найти правильный подход. Было сказано, что поэзия Пушкина это не начало XIX века, а блистательное завершение XVIII. Так и стихи Бунина: это не столько XX век, сколько завершение XIX.

¹ Николай Гумилев. Бунин и др. «Аполлон», № 10, стр. 25—26, 1910. Цитируется по изданию «Н. Гумилев. Собрание сочинений». Т. 4, стр. 248. Вашингтон, 1968.

Уже неоднократно указывалось на родство Бунина с Тютчевым, Фетом, Майковым. Да, взлет мысли временами тютчевский; да, бунинская четкость иногда прерывается фетовской смятенностью; да, «скульптурность» Майкова не осталась без следа и в бунинской поэзии. Но недаром заметил Владимир Соловьев:

«Стих Майкова в лучших его произведениях силен и выразителен, но вообще не отличается звучностью»².

Вот этого-то последнего уж никак про бунинский стих не скажешь!

Если подойти к поэзии Бунина, как к прекрасному завершению XIX века, то легко понять, почему Бунин не принимал, да и не мог принять поэзии начала нынешнего века — символистов, имажинистов, футуристов, Блока, Брюсова, Маяковского: Бунин и они были, так сказать, разновременны.

Еще одно довольно распространенное мнение: его, между прочим, выразил и О. Михайлов в послесловии к собранию стихов Бунина, выпущенного в Москве. О. Михайлов, приводя некоторые бунинские рифмы («Взор» — «Костер»; «Ненасстье» — «Счастье»; «Бурь» — «Лазурь») замечает, что рифма Бунина «банальна, как у Д. М. Ратгауза»³. Что ж... Мы не знаем, встречаются ли у Ратгауза глагольные рифмы, но вот у Бунина они встречаются (например, «Утопаешь» — «Наливаешь» в стихотворении «Где ты, угасшее светило...»). К сведению О. Михайлова и прочих: глагольные рифмы есть и у Пушкина. Но насчет *банальности* рифмы...

*Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.*

² Статья В. Соловьева «Майков». Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 35, стр. 371. СПб.

³ О. Михайлов. О Буине. «Примечания». И. А. Бунин. Собрание сочинений. Т. I, стр. 509. Изд. Художественной Литературы. М. 1965.

Последуем примеру этого второго пушкинского мудреца.

*Обрыв Яйлы. Как руки фурий,
Торчит над бездною из скал
Колючий, искривленный бурей,
Сухой и звонкий астрагал.*

*И на заре седой орленок
Штит в гнезде, как василиск,
Завидев за морем спросонок
В тумане сизом красный диск.*

Что: банальна рифма?

Конечно, Бунин — не «эпигон натурализма»; никакой натуралист не мог бы написать:

*На лиловом небе
Желтая луна.
Путается в хлебе
Мрачная струна.*

Вечерний жук

Разгадка бунинского «натурализма» в другом, и ее хорошо выразил Блок:

«Так знать и любить природу, как умеет Бунин, — мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко»⁴.

Диапазон тематики стихов у Бунина необычайно широк, хотя и преобладают в ней (как и в прозе) обращенность к Богу, мысль о смерти, чудесные изображения природы, любовь. И с какой необычайной быстротой проносятся перед нами видения-стихи! Вот напряженная трагическая баллада «Малайская песня», вот эпические белые стихи о Цейлоне, вот полный внутреннего дра-

⁴ А. Блок. Собрание сочинений. Т. 5, стр. 141. М. — Л. 1962.

матизма, весь построенный на «подтексте» рассказ в стихах (иначе не назовешь) «Игроки», вот лирика, чувственная и целомудренная одновременно.

*Я к ней вошел в полночный час.
Она спала — луна сияла
В ее окно, — и одеяла
Светился спущенный атлас.*

*Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди, —
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.*

(Не есть ли, кстати, это стихотворение — наглядный аргумент против несправедливых слов Гумилева, — поэта крупного дарования, но критиковавшего Бунина с позиций своей, небунинской эпохи?)

«Память художника похожа на ожоги живой души вследствие быстроты движения», — заметил Михаил Пришвин. Художественная память Бунина-поэта — ожоги живой души.

О Бунине-прозаике наговорено так много, что уже есть общие места: «Певец дворянского оскудения...» (что в корне неверно, но об этом позже), «Чеканная бунинская проза»... Не избежал Бунин, впрочем, и непонимания его дара («у Бунина небольшое, но очень изящное и симпатичное дарование», — снисходительно отзывался о нем в «Брокгаузе и Ефроне», изд. 1905 г. С. Венгеров. Это после «Листопада» и «Песни о Гайавате» и за два года до избрания Бунина в почетные академики!).

Раздавалась по его адресу и прямая брань:

«В 1919 году в «Одесских новостях» он как космополит и изменник прославлял интервенцию. Вскоре эмигрировал за границу, где опубликовал ряд статей, проникнутых бешеной ненавистью к Советской России» («Большая Советская Энциклопедия» изд. 1951 г.).

Теперь клевета и брань — достояние прошлого (хотя, как говорится, из песни слова не выбросишь), а похвалы Бунину постепенно превращаются в канон. И все-таки, — пусть канон! — чем он нам дорог?

Вот говорят, Бунин — прекрасный бытописатель. Отразил быт умирающего провинциального дворянства. Изобразил мужиков без прикрас. Так этим он нам дорог? Разберемся.

Ближе всего к отражению (не преломлению!) крестьянской действительности те ранние рассказы Бунина, которые еще отмечены этаким натуралистическим народничеством: «Танька» (1892 г.), «Вести с Родины» (1893 г.), «На чужой стороне» (1893 г.), «Великий перевоз» (1894 г.). Но как раз не этим натурализмом пленяет нас Бунин, а тем своеобразным, неповторимым, что чувствуется и в этих ранних рассказах и чему будет суждено развиваться в «чеканную бунинскую прозу». Да и какой он «певец дворянского оскудения»? Сам о себе он пишет («Первые литературные шаги»):

«В детстве — глухая усадьба в Орловской губ (имения отца уже приходили в разорение). Потом — уездный город, гимназия. Жил в Орле, Харькове, Полтаве, — и все в радикальских кружках, — учился, немного работал в провинциальных газетах, странствовал по югу России, года два служил в полтавском губернском земстве статистиком, библиотекарем, временами порядочно нуждался».

Итак, — с усадьбой связано лишь детство Бунина. Отрочество — уездный город. Молодость — жизнь не помещика, о нет! — а странствия интеллигента-«правдоискателя». А когда пришли известность, а затем и слава, и появился материальный достаток, — Москва, Петербург, путешествия по Востоку и экзотическому Югу. «Отражать» довелось слишком многое, не только быт мелкопоместных дворян.

Даже в своих наиболее «социальных» вещах, какими считаются «Деревня» и «Суходол», темы крестьянского неустойства и бедности, даже страшная быль крепостного права, играют как бы подчиненную роль; Бунин не морализирует, не на-

ставляет, не проповедует. «Любовь в Суходоле необычна была. Необычной была и ненависть»: вот бунинские слова, прямо указующие на стержень «Суходола».

Говорить об авторе «Деревни», «Суходола», «Жизни Арсеньева» как о бытописателе — это все равно что восторгаться «Евгением Онегиным» за верное отражение российского быта двадцатых годов прошлого века; как будто в пресловутом «отражении» — суть!

Мы знаем все о прошлом Лаврецкого, Лизы Калитиной, Литвинова, Ирины Осининой; Бунин (у которого в его ранних вещах находят следы влияния Тургенева) этим приемом не пользуется. Он показывает своих героев лишь в настоящем, в действии, в движении, обуянных лишь одним: любовью. Любовью плотской, любовью одухотворенной, любовью ангельской, любовью дьявольской... Какой они общественной деятельностью занимаются (и занимаются ли?), заботятся ли они, подобно чеховскому Астрову, о сохранении лесов или не заботятся, мы не знаем. Мы видим лишь, как подобно солнечному удару их постигает любовь. Всегда несчастливая. «Они поженились, жили в согласии, у них были дети», — это не для Бунина. Он и имена своим героям дает далеко не всегда (есть у него «поручик», «военный врач», просто «он» и «она»), но зато они всегда любят. И от любви убивают, кончают с собой, сходят с ума; а если расходятся, — то с неизлечимой душевной раной.

Венец повествований о любви — бунинские «Темные аллеи». Книга в русской литературе еще небывалая: тридцать восемь новелл, и все о любви. В чем разгадка их колдовства, их убедительности вопреки тому, что иные из них (по сюжету, не по выполнению!) — на грани чистейшего романтизма? Не в том ли, что в «Темных аллеях» Бунин, прежде всего, — поэт, его пресловутая «великолепная проза» всецело подчинена поэзии (перифразируя Гумилева: читая прозу Бунина, кажется, что читаешь стихи)? Только поэту, большому поэту дано превратить довольно банальное убийство офицером содержанки («Случилось то, о чем я должна была сказать тебе уже давно. Я возвра-

щаюсь к нему. Наш разрыв был ошибкой». ⁵) в сжатое, исполненное внутренней силы стихотворение в прозе («Пароход Саратов»). Только поэт способен двумя-тремя штрихами преобразить в истинную возлюбленную случайную ночную гостью, — глупенькую и несчастную уличную потаскушку:

«Лежа рядом с ней, он глядел в полутьму, смешанную с мутным светом с улицы, думая с неразрешающимся недоумением: как же это может быть, что она под утро куда-то уйдет? Куда? Живет с какими-то стервами над какой-нибудь прачешной, каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы заработать под каким-нибудь скотом два целковых — и какая детская беспечность, простосердечная идиотичность! Я, мне кажется, тоже «на весь дом закричу» от жалости, когда она завтра соберется уходить...»⁶ («Мадрид»).

Любовь — первая тема, а смерть — вторая? Или наоборот? Сам Бунин о себе говорит:

«Люди не совсем одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)... Вот к подобным людям принадлежу и я».

Обостренное чувство жизни! Вот разгадка неотступно преследовавшего его ужаса перед смертью. Но интересно, что одна из немногих написанных Буниным критических статей посвящена Боротынскому, смотревшему на смерть другими глазами:

*О дочь верховного эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.*

⁵ Ив. Бунин. Темные аллеи. Стр. 278. Париж. 1946.

⁶ Там же, стр. 256.

«И только в смерти поэт нашел действительное успокоение», — замечает, процитировав эти строки, Бунин, по-видимому, все же недоумевая. «Он стал *даже* (подчеркнуто нами. — А. Н.) прославлять смерть» (эта фраза им предпослана выше процитированным строкам Боратынского). Бунину было тридцать лет от роду, когда он писал о Боратынском, с недоумением приводя его строки.

Но текли, текли его дни... В 1929 году парижские «Последние новости» напечатали его короткий рассказ «Бернар». Рассказ начинается словами: «Дней моих на земле осталось уже мало». А дальше идет повествование о старом моряке Бернаре, который, умирая, сказал о себе: «Думаю, что я был хороший моряк». И вот что замечает Бунин:

«А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что Бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что всё в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое Божье намерение, направленное к тому, чтобы всё в этом мире «было хорошо» и что усердное исполнение этого Божьего намерения есть всегда наша заслуга перед Ним, а посему и радость, гордость.

...Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар»⁷.

Здесь уже — не ужас перед смертью; здесь — ее мудрое приятие, вот как мудрое приятие смерти старым моряком Бернаром.

Кстати, в книге «Весной, в Иудее» рассказ заново датирован и помечен 1952 годом. «Дней моих на земле осталось уже мало»...

⁷ И. А. Бунин Весной, в Иудее. Роза Иерихона. Стр. 96. Изд-во им. Чехова. Нью-Йорк. 1953.

На этом, собственно, можно было и закончить. Но сейчас Бунина чествуют и в России. В газетах и журналах — статьи о нем, его фотографии. Конечно, нельзя не порадоваться тому, что поздний, пореволюционный Бунин, хотя и с купюрами, стал доступен российскому читателю, и уж, конечно, им оценен.

Но во всех парадных официальных статьях есть какой-то неприятный привкус. Между строк чувствуется примерно следующее: Бунин — наш, и лишь там, где он заблуждался, он не наш. Бунин хотел после войны вернуться на родину. Он так и не вернулся. В этом его трагедия.

Да, короткое время после войны Бунин переживал тот подъем, который был присущ тогда многим и в стране и в эмиграции. Подъем, связанный с надеждами. Теми надеждами, о которых так хорошо сказано в заключительной фразе пастернаковского «Доктора Живаго». Надежды не сбылись, и Бунин это скоро понял. Повстречавшийся с ним вскоре после войны Константин Симонов писал о нем:

«Это был человек, не только внутренне не принявший никаких перемен, совершенных в России Октябрьской революцией, но и в душе всё еще никак не соглашавшийся с самой возможностью таких перемен, все еще не привыкший к ним как к историческому факту»⁸.

И действительно, только представить себе: какой трагедией для Бунина-человека и Бунина-писателя было бы возвращение туда, куда людей загоняли силой (пресловутая «репатриация», с ее охотой за черепами!).

Только представить себе: Бунин и... Шолохов; Бунин и... Федин; Бунин и... Нет, слава Богу, что этого не случилось!

⁸ К. Симонов. Об Иване Алексеевиче Бунине. «Литературная Россия», № 30, 1966 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

Об Алексее Ремизове

Вот не так давно приехал из Парижа мой хороший знакомый, писатель. Как его величают по имени-отчеству — про то не скажу, потому что не о нем идет речь.

И вот писатель рассказывает о Париже, о том, о сем. А я тоже бывал там, и это меня мало интересует, но я слушаю, потому что в словах моего знакомого писателя повторяются мои когдатошные восприятия, и в них я вижу себя моложе на десять лет. Да, вот еще, говорит знакомый писатель, не это главное, не это все: вот я поехал по такому-то адресу, видел и разговаривал с Алексеем Ремизовым.

Только сказал он это, а у меня сердце сжалось, как будто чем острым и горячим коснулись его. Вот так сжалось сердце, что я глубоко и горько вздохнул:

— Алексей Ремизов...

Тому уже более тридцати лет. Да, тридцать пять, как мы читали Ремизова. Юношами. Гимназистами и реалистами.

Вздохнув глубоко и горько, я вспомнил о том времени. И не хочу сейчас обращаться к каким-то справочникам и библиографическим указателям, чтобы выписать названия ремизовских книг. Не хочу этого делать, потому что жалко разрушить сладость горечи, что поднялась во мне. И мне хочется сказать спасибо моему знакомому писателю, привез-

шему из Парижа два хороших, больших слова: Алексей Ремизов. Хороших, потому что Алексей Ремизов — это моя юность, юность тех, кто увидел русское солнце в те годы, когда девятнадцатый век уходил, уступая место двадцатому; больших, потому что Алексей Ремизов — это Россия, для многих уже незнаемая, чужая.

И потому сначала напишу то, что думается, что поднялось во мне словами знакомого писателя, а потом, уже погодя, пишу книги Алексея Ремизова.

А поднялось вот что.

— Подожди, подожди! Ты как читаешь Ремизова?!

И все видели, что у Ремизова слово обыкновенное не может быть словом обыкновенным, что оно светится внутренней своей тайной, и с этой тайной надо осторожно. А осторожно надо было тем, кто любил ремизовское слово. Кто ухом для сердца мог ловить и точку, и тирешку, и слово, для чего-то именно тут поставленное.

Уши у нас были хорошие... нет, души у нас были молодые, и в душах этих тогда было что-то от эоловой арфы. И потому находили мы ту ноту, оттолкнувшись от которой уже все ремизовское звучало нервной, чуткой сказкой, в которой слова сами по себе перемигивались самоцветами. Нашими, родными, русскими самоцветами, шлифовальщиком которых был Алексей Ремизов...

Не так давно прочитал я статью об Алексее Ремизове: «Кудесник слова»¹. Хорошее определение, но когда автор статьи пытается доказать его глубокий смысл при помощи «многоцветной лепоты», «красовитого узорочья», «изводова» и «действа» — обидно читать. Об Алексее Ремизове неудобно так говорить: что на месте и к месту у «Кудесника слова», то в скучной статье мрачного анатома, ковыряющегося в живом звучащем творчестве, вызывает легкую улыбку досады и пожимание плечами.

И потом: автор статьи с назойливой навязчивостью убеждает, что Алексей Ремизов реставратор, пытающийся «воскре-

¹ В. Завалишин. «Кудесник слова».

силь более двухсот лет покоившуюся в обитом парчой гробе — культуру XVII века».

Я не знаю, не могу сказать, где и когда зачитывались мы Ремизовым. Но я доверяю своей памяти и говорю: мы любили Алексея Ремизова, мы знали его хорошо и ничуть не чувствовали этого реставраторства. Нас не обманывало ремизовское слово, даже если и было оно им взято из далекого прошлого, из древнеславянского. У Ремизова оно не казалось старым, тяжелым, потому что, попав в руки оно наливалось свежей кровью, оживало и начинало петь. Я даже точно помню, где-то у самого Ремизова было сказано, что любопытное нужно, что из него можно и стоит идти к чудесному. И он легко и уверенно приходил к этому чудесному, взяв зернышко какое-то таинственное не только от XVII, он брал от сказаний первых веков, — и творил чудесное. Чудесное творил он и о современном. Современном мне и моему поколению.

А тут в статье: «преображенная реставрация», «реставрация духа», «воображение и впечатлительность претворяют реставратора в художника, сметают преграды между реставрацией и оригинальным творчеством», «подсобный принцип реставрации», и так далее...

И венцом всему: «Ремизов-реставратор заслонил Ремизова-реалиста, Ремизова-сюрреалиста и Ремизова-публициста»...

И этот «венец» запутал все: с одной стороны, «реставратор превратился в художника», с другой — «Ремизов реставратор заслонил Ремизова-реалиста, сюрреалиста» и все такое прочее. А слова-то все подобраны такие, какие никакого отношения не имеют к Алексею Ремизову. К нашему родному Алексею Ремизову.

Торопливым жонглированием модными словами можно утешить, можно даже усыпить читателя, но раскрыть творчества нельзя. А тем более творчества Алексея Ремизова.

Но все это — так сказать, по поводу...

Любили и читали Алексея Ремизова. И казалось, что где-то там, со страниц книг звучит чудесная, сказочная мелодия, какой-то ремизовский мотив.

Опять — из далекого прошлого. Откуда это, не помню: «А моли, моли-то сколько развелось»... Боже мой, как проста, как прозаична эта выдернутая из текста фраза, но тогда, вкрапленные в целое, эти слова были той таинственной точкой, которая делает живым и живущим вырисованный художником на полотне глаз портрета.

А представляется нам Алексей Ремизов каким-то чародеем, почему-то высоким, с лицом аскета, обрамленным длинными, мягкими волосами, прикрывающими уши, чтобы грохот конки и шум извозчичьих пролеток не особенно мешал.

А вот когда, уже во время войны, вольноопределяющимся, в пятнадцатом году попал я в Москву и мне показали проходившего Алексея Ремизова, я растерялся и даже огорчился: выдуманный нами Алексей Ремизов был совсем не похож на себя. Я отказывался верить, так мне хотелось вернуть тот образ, который мы создали в юности...

А потом прошло много-много лет. В наступившем пожаре сгорели все книги Алексея Ремизова, из библиотек их вытащили, и только очень немногие остались где-то на чердаках или в темных кладовых. Потом они были извлечены оттуда, и владелец берег, держал их в чемодане или в столе... А вечером, в тиши, раскрывал том Алексея Ремизова.

Зарубежная печать («Arts» № 369, статья Марселя Арлан, и др.) отметила пятидесятилетие литературной деятельности русского писателя Алексея Ремизова. Зарубежная русская печать сказала свое теплое слово в связи с семидесятипятилетием со дня рождения и полустолетием жизни в литературе. И когда в одной статье молоденький, вырвавшийся оттуда журналист утвердительно заявил, что Алексей Ремизов оказал «очень большое влияние на русскую послевоенную (то есть, советскую!) литературу», мне стало не по себе: зачем лгать? Не было, не могло быть этого, потому что творчество Алексея Ремизова никакой своей стороной не могло соприкоснуться с дозволенной в СССР литературой.

И вот когда я опять встретился с моим знакомым писателем, побывавшем в столица Франции, он мне сказал:

— Я получил три книги Алексея Михайловича Ремизова с надписью автора... Я знаю: вы любите Ремизова... Возьмите, прочитайте...

Я получил эти три книги. Это были «Повесть о двух зверях», «Бесноватые» (Савва Грудцын и Соломония) и «Мелюзина» (издание «Оплешник», Париж). На несколько дней я взял их, но не стал сразу читать. Я принес их в дом, в чужой, не родной мне дом, я подождал, когда утомится жизнь чужого, не родного мне европейского города, и тогда уселся за письменный стол. Я погладил одну, и другую и третью. Потом прочитал надписи таким странным, сказочным почерком: «Откуда у нас пошли сказки о зверях», «о тайне крови и слове» и «память о жарком Париже», а внизу каждой: А л е к с е й Р е м и з о в , росчерком старого, ушедшего навсегда дьячка.

Я никогда не видал автографов Алексея Ремизова, никогда не имел от него самой коротенькой записочки. Но глядя на надписи, мне эти выцарапанные слова до слез стали близкими, родными и такими знакомыми, как родна и знакома Россия до Великого Пожара...

Я просто и от сердца записал это об Алексее Ремизове. Я освободился от мыслей, рожденных воспоминанием о нем. Теперь я свободен. Я разверну его томик в зеленоватой обложке и...

...и пришла горечь обиды, что там Алексея Ремизова не могут читать...

В. Кульбицкий

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Современник о современниках*

Об этой книге, как слышно, толков множество. Естественно, потому что книга замечательная. Не только по мастерству (такие главы, как например «Шаляпин» или «Третий Толстой» — подлинные шедевры мемуарно-литературных характеристик), но прежде всего по некоей удивительной внутренней свободе и цельности суждения — чертам, нашей современностью почти утраченным. — Суждений спорных, скажут мне. Но это уже другой вопрос...

Споры вызывает главным образом открывающая «Воспоминания» глава «Автобиографические заметки».

Что ж, если бы автор писал очерки русской литературы начала века — было бы, верно, очень грустно очутиться в представленной в этой главе галерее уродцев. Но автор передает свои впечатления от встреч и знакомств, явно не желая подвергать их нейтрализующему влиянию академической беспристрастности. «Великий современник» рассказывает о современниках же. Без поправки на историю и учебники литературы.

Позволю себе сравнение. В сороковом году я ездил в Ленинград к своей тетке — писательнице М. Н., очень древней, жившей в здравнице для престарелых ученых. С нею и со вдовой

* И. А. Бунин. Воспоминания. Книгоиздательство «Возрождение», Париж 1951.

писателя Г. просидел вечер за чаем. Говорили о Некрасове, Тургеневе, Достоевском. Для меня прежде всего классиках, для них прежде всего — знакомых.

Спросил я о Льве Толстом. «Весьма неприятный был человек — сказали обе решительно, — очень неприятный». Последовал рассказ интереснейший, из которого в самом деле выходило, что встречи обеих с Толстым должны были оставить у них воспоминания именно неприятные. Но о Толстом как авторе «Войны и мира» речи не было.

Так вот и со многим в «Воспоминаниях» Бунина. Валерий Брюсов, «лающий в дудкообразный нос»... Я помню Брюсова, когда он был руководителем семинара по Пушкину в московском Институте Слова, и он тогда не лаял, а говорил весьма негромко, мяукающим голосом. Маяковский с «корытообразным» ртом, «извилистыми жабыми губами». Здесь мои впечатления с авторскими совпадают. Маяковского я знал. В быту для многих этот высокоодаренный поэт оказывался хамом невыносимым...

Блестящий и пародийный портрет Константина Бальмонта, который « всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности ». Критически оценить не могу — я Бальмонта никогда не видел; он для меня автор двух-трех прекрасных и множества ничего не говорящих мне стихотворений. О том, как « нещадно били его — и не раз — лондонские полицейские », прочел с интересом, но это никак не изменило моего отношения к нему, как к поэту.

Вообще вряд ли можно накладывать портрет биографический на литературный облик художника. Художник шире своей жизни, и сколько литературных ореолов потускнело бы, если бы их пытались корректировать бытом! Автор делает кое-когда такие попытки, я как читатель нет.

Подробнее об этом, то есть о собственно критических оценках в книге. Тут спорное налицо. Наряду с изумительно тонким разбором творческих приемов Куприна, производится, например, развенчание Блока. Естественно, что реалист Бунин не приемлет « нарочито загадочных, почти сплошь совершенно никому непонятных литературно выдуманых символических, мистических стихов ».

Что ж возразить против этого неприятия? К нему надо очень прислушаться (в наши дни так много подрифмованного сумбура выдается за стихи!), но это неприятие не вычеркивает же замечательную главу — символизм — из истории русской поэзии. Равным образом и реально-критический комментарий к обрванной системе символизма, намеренно, как известно, пренебрегающего логически-предметными нормами, не лишает же эту систему поэтической ценности и обаяния.

*Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча...*

«Не совсем кстати... пунцовая родинка, — ведь не такой уж изысканный ценитель женских прелестей был Петруха!» — замечает Иван Бунин.

Замечание явно притянуто за волосы: органически такого рода ассоциация вряд ли возникает при чтении «Двенадцати» и поэтического образа, стало быть, не нарушает.

*Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.
Сад кольшет, как пенный пожар.*

.....

Вот и эти строфы Сергея Есенина (правда, далеко не лучшие его строфы) останутся подлинной, чистой воды поэзией, несмотря на приведенный Иван Буниным натуралистический комментарий.

Вообще же оценка есенинского творчества вызвала наибольшее количество возражений. По-видимому, справедливых: есть поэтические судьбы и явления, для характеристики которых эгоцентрических впечатлений и оттачивания недостаточно.

Впрочем, если бы Бунин написал бы что-либо «о светлой памяти Сергея Есенина»... Да нет, своеобразие книги в том и заключается, что представить себе таких строк в ней нельзя.

Книга же, повторяю, очень хороша.

Чудесный такой мостик, переброшенный из современности в прошлое нашей литературы одним из замечательнейших ее мастеров.

Л. Р.

Творческие университеты

Я поместил уже однажды заметку под таким заголовком в «Посеве», но, думаю, не исчерпал ею ни темы, ни заглавия. Напротив: мне кажется, тема эта нужна нам как некий постоянный аспект многих наших критических высказываний о зарубежных изданиях художественной литературы.

В посевской заметке я назвал «творческими университетами» некоторые из последних, недавно выпущенных книг И. Бунина, Б. Зайцева, Н. Тэффи. Что ж, кто будет оспаривать, что живое трепетанье творческого слова на нашей родине сейчас, несмотря на отдельные редкие оазисы, — потушено, отброшено на десятилетия назад запечатавшим творческие поиски партийным реализмом. Как же не ценить того немногого творчески подлинного, свободного и мастерского, чем располагаем мы в зарубежье? И главное не только «как не ценить?», но и как не учиться у него?

В заметке я приводил примером этого подлинного два маленьких бунинских стихотворения «Ночь» и «Искушение», открывающие двадцать восьмую книжку «Нового Журнала». Передавая все читательское ощущение, писал, что вот, кажется, когда читаешь их, многие занимающие нас вопросы формы и стиля поэтического выражения уходят от нас, потому что представляется: именно так и надо писать стихи.

Сейчас я хочу поговорить о выпущенной недавно издательством им. Чехова «Жизни Арсеньева»¹. Право на этот разговор (далеко не новый для книги) ощущаю не только в том, что издание «первое полное», и не только потому, что разговор нов для меня самого, лишь недавно книгу узнавшего (как это удивительно: думать, что каждая строка русской литературной классики уже известна тебе, и — неожиданно открыть новые ее страницы!), но и потому, что посягаю не на «пегую» критическую рецензию, разбрасывающую по пересказу кляксы комплиментов с восклицательными знаками, а на оценку, так сказать, ученическую, — попытку ответить на вопрос: в чем же в сущности заключается очарование этого произведения? На полемическое вооружение при этой попытке возьму лишь два пункта (обобщая слышанное от иных читателей — «спорщиков»). Пункт первый: «книга очень эгоцентрична: автор все говорит и говорит о себе». Пункт второй: «Вряд ли может вдохновить современные поиски литературного «направления» этого типа классический реализм». Пунктам и стану следовать.

Автобиографические повествования бывают, действительно, очень часто одноколейны. Но вот как раз в «Жизни Арсеньева» биографическая колея рассыпается в такую многопутность творческих ее воплощений, какую встретишь не часто. Автор не рассказывает день за днем своего жизненного календаря — он расцветивает пережитое множеством блестящих и разнообразных опосредствований, в которых его «личное», не растворяясь, достигает тем не менее вершин творческого обобщения.

Опосредствования литературные, например: «Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к «Руслану», — следует поэтическая и замечательная интерпретация «Лукоморья».

И дальше — о «Страшной мести» Гоголя, о «Слове о полку Игореве»... Затем опосредствования психологические — сильные, разнородных мотивов: смерть сестры, еще одна смерть и жизнь; еще одна смерть, мать... И все эти опосредствования, повторяю, стано-

¹ И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева. Юность. Первое полное собрание. Изд-во им. Чехова. Нью-Йорк, 1952.

вятся, волею и великим мастерством автора, переживаниями, мыслями для нас. Разве, например, только о матери автора ощущаем мы сказанное:

«В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет во веки веков благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках? «Пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших».

Опосредствования природой. О бунинском пейзаже писалось много. *«... Утром зеркально, зловецю блистало два тусклых солнца, и в тугой и звонкой неподвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился альими дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев»...*

Это, конечно, изумительно. Но особое существо бунинского пейзажа состоит в том, что он никогда не «штучный орнамент» (как часто бывает это у других!). *«...Первобытно подвержен русский человек природным влияниям».* И пейзаж у Бунина растворен в героях, они — в пейзаже. Вот-вот и сползет ощущение, переживание в пейзаж, — и читатель видит, как уносит с собой на всю жизнь подросток цвета и запахи, щедро делясь ими с ним, читателем. В пейзаже обобщение у Бунина особенно могуче и выразительно:

«Как забыть этот ночной зимний звон колокольчиков, эту глухую ночь в глухом снежном поле, то необыкновенное, зимнее, серое, мягкое, зыбкое, во что сливаются в такую ночь снега с низким небом, меж тем как впереди все чудятся какие-то огоньки, точно глаза каких-то неведомых, ночных, зимних порождений! Как забыть снежный ночной полевой воздух, холодок под енотовой шубой сквозь тонкие сапоги, впервые в жизни взятую в свои молодые, горячие руки вытянутую из меховой перчатки теплую девичью руку — и уже ответно, любовно мерцающие сквозь сумрак девичьи глаза!

Это уже не только «авторское», — это мое, ваше, их, человеческое... и это — Россия.

«Эгоцентризм»! (это я повторяю воображаемого оппонента. И слово-то вряд ли у места употреблено. Эгоцентрическое самолюбование в творчестве бывает навязчиво, спору нет. Эгоцентризм центробежный, творчески обобщаемый — непереносимое условие художественности произведения. Лишены его — из печатного — разве только телефонные справочники). «Для себя» у Бунина — всегда и «для меня», читателя, — благодаря чудесному богатству его метода творческого воплощения темы, мастерству многогранного поэтического опосредствования частностей — мастерству, которому надо учиться у него без усталости. И — богатству и восхитительной точности языка.

И затем — о реализме, о способности книги помочь в «направлении», быть «университетом» для нас. Должен признаться: я с грустью иногда устанавливаю, что не могу уже восхищаться многим из написанного, например, Леонидом Андреевым или Куприным (бунинскими современниками) или другими некоторыми — не стану тревожить их имена. И в «поисках» наших не возьму их в руководители.

Ощущение свежести «Жизни Арсеньева», напротив, непрерываемо при чтении, прошлое входит в «сегодня» без усилий и шороха шагов. Потому ли, что нет в книге тех, для чуткого уха ощутимо притянутых, страхов и красот, не окончательно спрятанных литературных жеманств, какие встречаются у названных авторов; потому ли, что нелегко найти в ней никакой, совсем никакой, не ограниченной творческой свободой тенденции, в силу чего эта творческая свобода, эта совершенная независимость может так обаятельно утвердить себя; потому ли, наконец, что бунинский стиль широкого творческого обогащения пережитого, «большой жизни», отходит от природы традиционного реализма, рушит грани «явного» (...«слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь — есть другое, бесконечно более богатое, то, с которым мы рождаемся...»).

И далее — об ощущении «виденности» нового в прошлом, в подсознании и потому нашим «поискам» ближе...

Но, если так, то и «направлению» можем мы у Бунина учиться.

В общем же — за «Жизнью Арсеньева» хочется видеть переизданным и другое бунинское, по бедности библиотек многим зарубежным читателям недоступное.

Леонид Ржевский

Жуковский Бориса Зайцева*

Кажется, Флоберу принадлежит меткое изречение: «Не прикасайтесь к кумирам, — позолота остается на руках». Оно нередко вспоминается, когда встречается книга, построенная биографическим методом, — в особенности, если она относится к наиболее свободной разновидности биографического жанра — к так называемым «художественным биографиям».

По-видимому, спасаясь от нередкого разочарования в неприкрашенном оригинале, создатели подобных работ сплошь и рядом грешат искусством грима и костюма, заботливо прикрывая ими описываемого «голого короля».

Так рождается «сладостная легенда» вместо «тьмы низких истин». Торжествует при этом пресловутое «Dichtung», поэтическое воображение, и ущемляется историческая правдивость. В этом отношении жанр «художественной биографии» один из самых ненадежных, как источник исторической информации, но чрезвычайно увлекательный для биографа, обладающего художественным инстинктом.

Поэтому при оценке «художественной биографии» основной вопрос сводится обычно к уловлению степени «сознательной» или «подсознательной» стилизации автором избранного им героя.

* Борис Зайцев, Жуковский. УМСА — Париж, 1951, 248 стр.

Борис Зайцев уже дал в начале тридцатых годов образец своего понимания биографических тем, создав, с присущим ему талантом, прекрасную, но не во всем бесспорную книгу о Тургеневе. Двадцать лет спустя им избран как объект для истолкования личности, творчества и жизненного пути Василий Андреевич Жуковский, со дня смерти которого в апреле этого года истекло сто лет...

Как и в книге о Тургеневе, Зайцева интересует обнаружение основного внутреннего пласта, создавшего, по представлению автора, монолитно цельный образ Жуковского, который выдвинут автором как «единственный кандидат в святые от литературы нашей».

Зайцев не только упоминает об этом своем тезисе, но и многократно показывает и убедительно доказывает, что «внутренняя его тема всегда была: слава Творцу, жизнь приемлю смиренно; всему покоряюсь, ибо везде Промысел. Горести, тягости — все ничего: «Терпением вашим спасайте души ваши». Так от «Теона и Эсхина» до последнего издыхания. Но в юности смутно, в зрелости выношено, выстрадано».

Развертыванию этого тезиса посвящено едва ли не большинство страниц книги, мастерски, неторопливо — в ритм той эпохе — и с многими словесными удачами написанных.

Для Зайцева путь Жуковского есть прежде всего поиски Царствия Божия, — задание столь частое в русской литературе, но «в одном Жуковском нашедшее завершение гармоническое». Книга о великом предшественнике «золотого века русской поэзии» направлена своим острием на раскрытие личного мира Жуковского — человека. Впечатления детства, искания юности, увлечения молодости и мудро сдержанный синтез зрелых лет обнаруживают те пласты, из которых возникает важнейшее для биографа — человеческая личность.

Основное, что определило облик Василия Андреевича, это его любовь, прошедшая в сущности через всю его жизнь, к Маше Протасовой, культ которой создал ряд ярких и чистейших мотивов в поэзии и определил многое в духовных чертах поэта.

В толковании Зайцева сияние этой любви превращает во второстепенные остальные мелодии поэта. Невозможность личного счастья с героиней жизни во многом обусловила созерцательно-религиозное отношение к миру и его бурям.

Под искусным пером биографа на первый план выступают воскрешенные им с глубоким сочувствием и психологической проницательностью факты сердечной жизни, в свете которых значительно меркнут и вопросы о литературном стиле, и об умозрительно идейных влияниях, и об отдельных поэтических мотивах, как, например, патриотических, эпизодически звучавших у поэта.

Надо сказать, что это законное право автора «художественной биографии» выбрать и подчеркнуть черты, кажущиеся ему важнейшими, использовано Зайцевым с большим тактом и с великолепной убедительностью. Жуковский, действительно, воскрешен, как духовная личность.

Аспект, избранный Зайцевым в подходе к теме, резко расходится с общераспространенными и «стандартными» историко-литературными внушениями о «певце во стане русских воинов», о балладнике и сентиментальном романтике, созданном литературной модой.

В совершенстве зная немалую литературу о Жуковском, Зайцев всюду подчеркивает теснейшую обусловленность творчества Василия Андреевича его внутренним миром, не боясь при этом показать и его органическую всечеловечность (космополитизм, если угодно), и его в конце концов поверхностное знание России, и его странное, но типичное для XIX века сочетание симпатии к бытовой неподвижности помещицкой Руси и явного интеллектуально-душевного западничества, когда Германия, Италия, Шильонский замок, Гомер и образцы английской и немецкой поэзии более зажигают воображение и творческое вдохновение Жуковского, чем эта необъятная Россия — те места Подмосковья — орловско - тульско - калужские, откуда чуть не вся русская литература и вышла.

Книга Зайцева оказывается редкостно целостной и воистину мудрой в приближении читателя к авторскому замыслу. Че-

редования превосходнейших «зайцевских» пейзажных описаний, бытовых и жанровых подробностей, лаконичных и выразительно метких характеристик и психологических портретов, анализов религиозных мотивов, столь характерных для Жуковского, превращают работу Бориса Зайцева в одну из удачнейших «художественных биографий» на русском языке и в одно из пронизательнейших его произведений, посвященных теме творчества. Столь несовременный и, согласно историям литературы, столь далекий, «допушкинский» поэт внезапно входит в духовную современность: заслуга Зайцева огромного значения.

Из отдельных тем, развиваемых в книге, кажутся особенно ценными замечания о Гоголе, которые сами по себе могли бы быть выделенными и расширенными как самостоятельное целое. Воинственное, что, как будто бы, вызывает возражение, это трактовка автором взаимосвязей Жуковского и Пушкина.

Налицо некая как-то обидно звучащая недооценка Александра Сергеевича, который неожиданно оказывается в изложении Зайцева слишком «младшим» в отношении Жуковского, «без всякого духовного управления».

Характерно в этом смысле, что лишь мимоходом, без прямой цитаты говорится о признании «учителя» побежденным и почти нет, кажется, за исключением одной великолепнейшей выдержки из Пушкина: «Что за прелесть чертовская его небесная душа!» — упоминаний о Жуковском из пушкинского литературного наследия. Зайцев пишет:

«Пушкин рано погиб. Жуковский отцовски провожал его. Но не очень видишь прочное соотношение их, если бы Пушкин жил долго».

Такой поворот темы — уже сослагательное наклонение, едва ли приемлемое для истории взаимоотношений двух поэтов. Читатель вспоминает, что в ряду тонких замечаний Пушкина о его «учителе» основоположной остается его «надпись к портрету Жуковского»:

*Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,*

*И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.*

Зайцевский ригоризм по отношению к «повесе» — Пушкину звучит в общем тексте сомнительной нотой..

В целом книга Борис Зайцева, чье пятидесятилетие писательской деятельности отмечалось осенью прошлого года русским зарубежьем и иностранным миром, оказывается неким музыкальным консонансом, соединяющим в единой гармонии творчество двух столь отдаленных во времени друг от друга, но духовно родственных писателей России, как Жуковский и Зайцев, несмотря на их индивидуально совершенно различные черты, — писателей, объединенных взаимным служением великому русскому языку и российской культуре, а, главное, душевной созвучностью в духовном подходе к миру.

Неизбежные оттенки в стилизации, органически свойственные жанру «художественных биографий», как указывалось выше, в полноценной книге Зайцева внутренне оправданы. И читатель с истинной благодарностью включает в свой литературный капитал образ Жуковского, его современников и эпохи, воскрешенных для нашей современности интуицией, знанием и талантом Бориса Константиновича Зайцева.

Ник. Андреев

Три книги*

Когда думаешь о России сегодняшнего дня, когда хочешь мысленно прозреть ее будущее, умственный взор невольно об-

* М. П. Б о к . Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине. Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1953.

А. И. Д е н и к и н . Путь русского офицера. Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1953.

М. М. Н о в и к о в . От Москвы до Нью-Йорка. Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1953.

ращается в прошлое. Тогда из всей целостности исторической перспективы особенно четко вырисовываются некие исторические узлы, которые приковывают к себе мысль, ибо бросают огромную тень вперед во времени, определяют собой целые исторические эпохи.

После петровских реформ самым судьбоносным событием русской истории является несомненно революция 1917 года. С рокового года прошло вот уж более трех с половиной десятилетий — время жизни и деятельности целого исторического поколения. Но и те, кто непосредственно пережил эти годы, и те, кто к этому времени, еще и не родился, с одинаковой интенсивностью переживают эту эпоху, в которой заложена одна из самых острых и резких граней нашей истории.

О революции семнадцатого года написано бесконечное количество работ — исторических и социологических исследований, мемуаров, психологических анализов, литературных произведений. Но тема эта не потеряла своей актуальности, она по-прежнему волнует умы.

Сегодня мы хотим посвятить несколько строк трем книгам — «Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине» — М. П. Бок, «Путь русского офицера» — А. И. Деникина и «От Москвы до Нью-Йорка» — М. М. Новикова. В этих книгах, носящих автобиографический характер, казалось бы мало общего. Но все они тесно связаны с революцией. Непосредственно о революции в них говорится сравнительно немного, но тема революции является для всех трех приглушенным лейтмотивом. Это и заставило нас объединить их в краткой рецензии.

В безотрадной картине острого кризиса ведущего слоя, который наметился в России перед революцией, ярко выделилась фигура Петра Аркадьевича Столыпина.

Ни правящий слой, ни общественность не были способны к творческому государственному мышлению. Правые были ослеплены реакцией, левые ослеплены революцией. Первые не понимали смысла надвигающейся революции, вторые же не видели смысла ни в чем ином, как в революции. Подлинные

интересы страны и ее многомиллионного населения оставались как бы за бортом.

История ставила перед Россией в начале этого века большие вопросы, неотложно требовавшие смелого и творческого разрешения. Неудачная война с Японией, первые громы революции, слабость государственного аппарата, возрастающая террористическая деятельность революционеров — все это были недвусмысленные предупреждения о том, что в стране не все благополучно. На этот вызов истории Россия должна была ответить разрешением стоящих перед нею проблем. От успешности этого разрешения зависела ее дальнейшая судьба.

Многие и тогда и сегодня считают, что единственным человеком, которому по плечу была эта задача, был Столыпин. Поэтому с особым интересом открываешь книгу, написанную о нем рукой его дочери.

Мария Петровна Бок, старшая дочь Петра Аркадьевича Столыпина, не литератор, не политик и не историк. В литературной форме ее изложения, в ее политических характеристиках много незрелого и не в этом ценность ее книги. Не ставит она себе и целью дать исчерпывающую биографию своего отца.

Она старается дать человеческий образ Столыпина и притом не столько в качестве премьер-министра, сколько как отца семейства и просто человека. Кроме того, она стремится дать картину среды, членом которой был ее отец, и общего стиля ее жизни. Это ей в значительной мере удалось.

Не лишена эта книга и автобиографических моментов, больше того: центром ее является, пожалуй, сам автор, а не Петр Аркадьевич. Это становится особенно понятным, если принять во внимание, что Мария Петровна провела ряд лет, с исторической точки зрения как раз наиболее интересных для характеристики Столыпина, в Берлине, где ее муж был морским атташе при императорском посольстве. В этот период Мария Петровна видела отца только урывками, что не мешает с интересом читать и те строки, которые посвящены ее личным впечатлениям и переживаниям.

Из мелких деталей вырастает фигура Петра Аркадьевича Столыпина. В это мятущееся время она поражает своей уравновешенностью. В ней нет ни истерики двора, ни истерики Думы. В ней отчетливо чувствуется отпечаток старого и богатого дворянского помещичьего рода.

Но в ней нет и налета классовой узости. Сын генерал-адъютанта, относящий к своим предкам А. В. Суворова, М. Ю. Лермонтова, сам уездный, а затем и губернский предводитель дворянства, камергер, Столыпин всегда был близок к крестьянству, много занимался хозяйством, был человеком глубоко «почвенным». Это затем ясно сказалось в его государственной деятельности.

Карьера Столыпина была блестящей и неожиданной. Молодой саратовский губернатор вызывается в Петербург, где Государь предлагает ему портфель министра внутренних дел — пост по тем временам самый ответственный в кабинете. Столыпин отказывается, Государь настаивает.

Очень скоро он становится уже главой кабинета, после отставки довольно бледного Горемыкина. Тут Столыпин выявляет другую характерную для него черту — отсутствие страха перед ответственностью, — болезнь типичную для всего нашего ведущего слоя того периода. Столыпин знал, чего он хочет, и шел к намеченной цели уверенно и прямо.

Поражает личное мужество, которое никогда не оставляло Столыпина. Мария Петровна приводит следующий случай: «Один раз папа увидел, как стоящий перед ним человек вдруг вынул из кармана револьвер и направил на него. Папа, глядя на него в упор, распахнул пальто перед взбунтовавшейся толпой и сказал: — стреляй! Революционер опустил руку...»

«Достигал результатов, — замечает дочь, — отец без громких фраз, угроз, криков, а больше всего обаянием своей личности: в глазах его, во всей его фигуре ярко выражалась глубокая вера в правоту своей точки зрения, идеалов и идей, которым он служил».

Но давалось это Столыпину нелегко; так, он пишет своей жене, урожденной Нейгардт: «Теперь я узнал, что значит истерический клубок в горле, сжимающий его и мешающий гово-

рить, и понял, какая воля требуется, чтобы при этом не дать дрогнуть ни одному мускулу лица, не поднять голоса выше желательного диапазона».

Основной государственный замысел Столыпина заключался в энергичном проведении прогрессивных реформ сверху и примирении на этой почве творческой государственной деятельности правительственных и общественных кругов. Реформы его замыслены были очень широко. Наибольшую известность приобрела реформа земельная.

Но ею одной не ограничивалась политика Столыпина. Он стремился к улучшению положения растущего пролетариата, к усовершенствованию судопроизводства, к увеличению боеспособности армии. Его целью было общее оздоровление государственной системы. Для характеристики его деятельности весьма интересны наиболее значительные его речи, произнесенные в Государственной Думе, приведенные полностью или частично в книге его дочери.

Атмосфера, в которой протекала деятельность Столыпина, была крайне тяжелой. Левые революционные партии, видя, что Столыпин отнимает у них почву из-под ног, платили ему непримиримой ненавистью. Покушение следовало за покушением. Особенно ярко описано покушение в его особняке на Аптекарском острове, во время которого были тяжело ранены его дочь Наталия и единственный сын Аркадий и после которого ему пришлось переселиться в Зимний дворец.

На покушения Столыпин отвечал своей знаменитой фразой: «Не запугаете!». Не меньше забот причиняли ему и нападки и всяческое торможение его деятельности и из правых кругов.

Интересен отзыв Столыпина, приводимый его дочерью, о другом крупном государственном деятеле на скудном в те времена политическом горизонте — о графе С. Ю. Витте: «Да, человек он очень умный и достаточно сильный, чтобы спасти Россию, которую, думаю, можно еще удержать на краю пропасти. Но, боюсь, что он этого не сделает, так как насколько я его понял, это человек, думающий больше всего о себе, а потом уже о Родине. Родина же требует себе служения настолько жерт-

венно-чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует всю работу».

В этом отношении Столыпин оказался прав — в своих воспоминаниях, вышедших уже после трагической кончины Столыпина, граф Витте не пожалел мрачных красок в описании личности и деятельности Столыпина, в которых узрел уязвление для своего честолюбия.

Пять с половиной лет деятельности Столыпина резко прервались киевским выстрелом. Начатые реформы частично продолжали развиваться по инерции. Но за ними не было уже ни души, ни твердой руки, ни ума Столыпина.

Обезглавленное правительство потеряло инициативу и поплыло по течению. Фигура убийцы символична — недаром Багров был террористом и агентом охранного отделения. Ненависть справа, ненависть слева, тяжелая, изнурительная борьба и трагическое ее завершение! Родным говорили:

«— Вам должно быть легче нести ваше горе, зная, что его разделяет вся Россия». Но Россия катилась уже в бездну.

«Путь русского офицера» Антона Ивановича Деникина рисует приблизительно ту же эпоху, что и воспоминания Марии Петровны Бок, но автор доводит свои автобиографические записки дальше — до шестнадцатого года.

Среда, из которой вышел Деникин, мало похожа на ту, к которой принадлежал Столыпин. Родители Деникина не отличались ни родовитостью, ни благосостоянием Столыпиных. Жили Деникины более чем скромно, скорее нуждались. Отец Антона Ивановича — бывший крепостной, тяжелой солдатской лямкой дослужившийся до майорского чина. В армии служил он целых тридцать пять лет, участвовал и в крымской и в венгерской и в польской кампаниях, потом ушел в отставку. Во время турецкой войны подал рапорт о принятии его в действующую армию; однако вызов пришел, когда велись уже переговоры о мире.

Вспоминая про тяжелые николаевские времена «с эпическим спокойствием, без злобы и осуждения и с обычным рефреном: — «Строго было в наше время, не то, что нынче!». Умирал

легко. «Стал... спокойно говорить о своей близкой смерти... — Скоро я умру. Оставлю тебя, милый, и мать твою в нужде. Но ты не печалься. Будь только честным человеком и береги мать, а все остальное само придет. Пожил я довольно. За все благодарю Творца. Только вот жалко, что не дождался твоих офицерских погон... Часто молился вслух: Господи, пошли умереть вместе с Тобой...» Умер он, как хотел — в Страстную пятницу во время выноса Плащаницы...

Интересны описания жизни в глухом провинциальном городишке среди польского населения. Мать Деникина была полькой, но сына воспитывала русским. Эксцессы русификации Деникин критикует, к полякам относится хорошо, но он крайне далек от всякой «бело-черной» стилизации. Товарищество среди русско-польских учеников реального училища было крепким. Молодежь легче переступала пропасть национальной розни.

Вояния революции чувствовались мало. Вот любопытная иллюстрация:

«... Поймали социалиста»... под это общее определение жители подводили всех представителей того неведомого и опасного мира, которые за что-то боролись с правительством и попадали в Сибирь, но о котором очень немногие имели ясное представление». — Вот как народ относился к «авангарду революции». Вообще в книге немало мест, безжалостно развенчивающих некоторые большевистские фальсификации — о «буржуазном» (а не крестьянском) происхождении будущего вожди контрреволюции, например. Между тем социальное выдвижение отца автора описано в следующих словах:

«... Отец допущен был к «офицерскому экзамену», по тогдашнему времени весьма несложному: чтение и письмо, четыре правила арифметики, знание военных уставов и письмоводства и Закон Божий».

Описания эти там более убедительны, что приводятся они с необычайной простотой и непосредственностью, без всякого пропагандного замысла.

Описание детства, в особенности строки, посвященные отцу, пожалуй, лучше всего удалось автору. Выпуском из военного

училища оканчивается первая часть. Все остальные посвящены армии — служба в полку, занятия в Академии Генерального Штаба, японская война, последовавший за ней военный ренессанс и, наконец, — Первая мировая война...

Армию Деникин любит, любит он и русского солдата — им он отдал все свои силы. Вместе с тем он не был ни рутинером, ни ретроградом. Много в армии критиковал и не только а *posteriori* в воспоминаниях, но и во время службы.

Еще сравнительно молодым офицером Деникин заслужил себе имя в качестве военного корреспондента и журналиста. Чувствуется это и в его книге — он не художник слова, но человек, свободно и хорошо владеющий пером. О русской военной прессе отзываясь он очень положительно, считает ее значительно более либеральной, чем в других европейских армиях.

Поражение России в японскую войну Деникин переживал болезненно, считал, что победа была крайне близкой. С большим воодушевлением и свойственной ему работоспособностью он отдается той перестройке армии, которая началась при Столыпине и должна была быть закончена к семнадцатому году.

Но мировая война застала ее на полпути. Всю вину за эту войну, имевшую столь трагические последствия для России, Деникин возлагает на центральные державы. Последние главы своей книги он посвящает описанию операций на фронте, в основном — на юго-западном, где он командовал сначала бригадой, затем дивизией и корпусом...

Обрывается книга неожиданно — в Соединенных Штатах, седьмого августа 1947 года Антон Иванович Деникин скончался, работая над книгой у письменного стола, от разрыва сердца...

В историю Деникин вошел в качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России во время гражданской войны. Вот отрывок из того, что пишет по этому поводу Н. С. Тимашев в предисловии к книге Деникина: «Цель Белого Движения была в сущности та же, как ранее у Столыпина... Но осуществление ее было неимоверно более трудным, нежели тогда. Тогда общественная ткань не была еще разорвана, и надо было предупредить ее разрыв.

Во время гражданской войны нужно было восстановить разорванную ткань, но конечно не по-старому, а по какому-то новому образцу. По какому? На этот вопрос ответа у Белого Движения не было, потому что оно было идеологически раздроблено и к разрешению задачи не подготовлено.

В сущности, никто не был готов и вне Белого Движения — революционные взрывы приводят к стихийным распадам, а новые формы кристаллизации даются нелегко». Лично Антон Иванович Деникин по своим политическим убеждениям был умеренным либералом, а о более глубоких, духовных своих убеждениях пишет так: «... всецело приемлю христианство и православие. С этим жил, с этим и кончаю лета своего».

Генерал Деникин, — пишет дальше в предисловии Н. С. Тимашев, — не искал водительства. Оно было возложено не него волею судеб. Как-то он сказал Н. И. Астрову: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу, и что меня будут поносить и, может быть, будут проклинять. Но кто-то д о л ж е н эту работу сделать». Слова эти сбылись.

Книга «От Москвы до Нью-Йорка» М. М. Новикова также описывает предреволюционную эпоху, но изложение автора идет значительно дальше — оно заканчивается его переездом в Соединенные Штаты после конца Второй мировой войны.

М. М. Новиков — коренной москвич. Родители его купеческого звания. Сам он типичный представитель той пестрой группы «разночинцев», которые составляли большую часть нашей предреволюционной интеллигенции. Характерно, что деятельность его распадалась как бы на два течения — научную и общественную.

Последняя являлась совершенно неотъемлемой для нашей интеллигенции. В обоих направлениях автором проделан немалый путь — им написано множество научных трудов в области естествознания, он занимал кафедру по зоологии в Московском университете, был последним свободно избранным его ректором, был ректором свободного Русского университета в Праге, принимал участие во многих научных конгрессах и комиссиях.

По общественной линии он был гласным Московской городской думы, а затем и депутатом Государственной Думы четвертого созыва. В молодости Новиков увлекался марксизмом, но от этих увлечений его быстро вылечила серьезная научная работа. Либералом же он остался навсегда. В Государственную Думу он прошел в качестве кандидата от партии конституционных демократов.

Эпиграфом ко всей книге Новикова можно было бы взять приведенный им во вступлении отрывок из «Жатвы Моря» Фестенберга: «И вот, совсем недавно, у меня появилось желание описать себя самого. Себя, каким я был в жизни, одним словом — написать свою автобиографию. Как можно проще. Ибо, — таково мое мнение, — то, что стоит за происшествиями и фактами, всегда само выступит, если фасад, то есть происшествия и факты, будут правильно отображены». *(Мы дали русский перевод приведенного в книге немецкого текста — В. А.)*

Эти строки как нельзя лучше передают цель, поставленную себе автором. И цели этой он в значительной мере достигает.

М. М. Новиков описывает быт своей семьи — среды просвещенного купечества, тяжелое материальное положение его юности, когда ему приходилось содержать свою рано овдовевшую мать и, казалось бы, отказаться от академической карьеры. Студенческие годы в Гейдельберге в девятидесятых годах — в этом живописном, столь обаятельном и самом старом из немецких университетских городов. Московский университет, профессура, студенчество, их взаимоотношения, волновавшие их политические вопросы.

Свою деятельность в Московской Городской Думе и в Думе Государственной. Тяжелые годы революции, свои мытарства при большевизме до высылки за границу. Свою научную деятельность за рубежом. Наконец, беженский университет при УНРРА и свой отъезд в США...

Повествование свое ведет Новиков в эпически-спокойном стиле, с большим беспристрастием. В нем нет ни намека, ни столь частое в мемуарах желание оправдаться, осудить своих врагов. В книге встречается множество лиц, самых разнообразных — и профессора, и политики.

Почти о всех говорит Новиков с внутренней теплотой. Если и осуждает кого, то как-то застенчиво, как бы извиняясь перед читателем.

Свое спокойствие он теряет только, когда рассказывает об университете при УНРРА. Это относится к слишком недавнему прошлому, слишком тяжелые были отношения офицеров УНРРА не к нему, пожилому и заслуженному профессору, — это он мог бы обойти молчанием, а к делу. Свое повествование Новиков оживляет юмором, живым и добродушным, — так, он нередко отвлекается от какого-либо эпизода, чтобы рассказать припомнившийся ему анекдот.

Последние страницы несколько грустны: «университетские коллеги в Нью-Йорке и в некоторых других городах США встретили меня приветливо, но сдержанно; они сразу дали мне понять, что по американским условиям семидесятитрехлетний ученый рассматривается как конченный человек. Как старый боевой конь, я радуюсь, когда меня приглашают прочесть публичную лекцию. Но к радости примешивается и смущение по поводу того, что аудитория составляется обычно из людей, более или менее близких мне по возрасту...

Грустно думать, что русская эмиграция, если не произойдет решительного сдвига в области мировых событий, обречена в Соединенных Штатах на быстрое вырождение...

Но при всем этом я и нынче ощущаю некоторое внутреннее удовлетворение, как бы отблеск звезды, так часто озарявшей мой жизненный пульс. Удовлетворение от возможности обнаружить летопись моей жизни, не совсем повседневной в смысле ее многогранности и духовного богатства ... Смирившаяся душа постепенно настраивается на существование *sub specie aeternitatis*.»

Три книги. Три мало похожие фигуры. Три фона — дворянско-бюрократический, крестьянско-офицерский, купеческо-интеллигентский. Три повести об ушедшей России.

Единые и в отрицании России советской и в поисках России новой...

В. Арсеньев

*Читайте
в следующем номере:*

**Соловецкие острова
Г. АНДРЕЕВА**

**Была ли революция неизбежной?
Н. А. ЛАГОРИО**

Об Осипе Мандельштаме

**О встрече Анны Ахматовой
с Мариной Цветаевой**

Судьба Ярослава Смелякова

**Запад и мы
Жака СОРЕЛЯ**

Из переписки с Россией

и другие материалы

Для читателей журнала «Грани»

Памятники Отечества

Псковская земля: история в лицах

Так называется трехтомник, который готовится к изданию в редакции альманаха «Памятники Отечества».

В первый том вошло несколько десятков очерков о людях, оставивших заметный след в истории России, имена и дела которых были преданы забвению советскими идеологами.

Второй том расскажет о представителях знатных дворянских родов, прославившихся ратным и бранным трудом во имя блага Отечества.

Третий том объединит три великих имени — поэта Александра Пушкина, композиторов Мусоргского и Римского-Корсакова.

Все три тома иллюстрированы редкими документами и фотोगрафиями; их большая часть публикуется впервые.

Второй том¹ открывается очерком о братьях Лаптевых. Их имен не поглотило безжалостное время благодаря нескольким географическим названиям на карте мира, самое известное из которых — море Лаптевых. Начиналось оно... с маленькой речки Ловати, на которой в XII веке был основан город-крепость Великие Луки.

Самый знаменитый дворянский род представляет Михаил Илларионович Кутузов, родившийся в Псковском уезде. Его сподвижник, генерал П.П.Коновницын также имеет непосред-

¹ О первом томе читайте в № 214 ж. «Грани». — Р е д.

ственное отношение к Псковской земле; в его имении Кярово Гдовского уезда сохранилась церковь, последний приют генерала и его жены, могилы дочери и сыновей на старом кладбище и несколько деревьев некогда богатого парка. Сыновья генерала — участники декабристского движения, а его дочь Елизавета, в замужестве Нарышкина, последовала за своим мужем в Сибирь...

Чихачевы — а род их упоминается в летописях с XVI века — были связаны с Псковской землей навечно: царская грамота на поместья пожалована им в 1624 году. Потомки разветвившегося дворянского рода служили на государственном, военном и научном поприще, а П.А.Чихачев — географ и путешественник с европейской известностью.

На Псковщине корни писателя Владимира Набокова. Предполагается, что их род происходит «от каких-то псковичей, живших в сторонке, на обочье». Прапрадед писателя, Александр Иванович Набоков (1749—1807) — генерал от инфантерии. Старший его сын Иван окончил Пажеский корпус и в чине поручика Лейб-гвардии Семеновского полка отправился в заграничные походы против армии Наполеона. За сражение под Фридрихсландом был награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость», бился с французами на Бородинском поле. В 1813 году Иван Набоков произведен в генерал-майоры. Двадцатишестилетний генерал принимал участие в «битве народов» под Лейпцигом. Был ранен, награжден золотой шпагой, осыпанной бриллиантами. Его портрет — в Военной галерее Зимнего дворца.

Старшему сыну генерала от инфантерии Николаю суждено будет стать прадедом писателя. Сын Николая Набокова — Дмитрий, министр юстиции, получит всероссийскую известность. О последних годах жизни деда Владимир Набоков рассказывает в своем романе «Другие берега»...

Село Богдановское Новоржевского уезда принадлежало Дмитрию Николаевичу Философову, одному из представителей старинного дворянского рода, которые гордились своей принадлежностью к нему более, «чем всеми графствами и княжествами на свете».

Он устроил из своей любимой усадьбы поистине земной рай: там были собраны прекрасные коллекции картин, статуй, книг, которые привозились из частых зарубежных поездок. Здесь бывали известные художники А.Бенуа, А.Венецианов, Г.Сорока. Одна часть сада была устроена во французском, Версальском стиле, а расположенный за усадьбой лес превращен в английский парк. Летом двадцать пятого года в Богдановском побывал Пушкин...

Внук Дмитрия Николаевича Дмитрий Владимирович известен в России начала XX столетия как один из организаторов журнала «Мир искусства». В его имении бывали Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский.

Мать Дмитрия, знаменитая Анна Павловна Философова, урожденная Дягилева, была организатором «Бестужевских курсов». Александр Блок, с которым она была дружна, ввел ее в свою поэму «Возмездие» под именем Анны Вревской.

К сожалению, Богдановское постигла участь большинства дворянских гнезд, а место упокоения семьи Философовых было поругано...

Трехтомник «Псковская земля: история в лицах» намечен к выпуску в свет в 2005 году.

Желающим помочь средствами в издании уникального памятника отечественной культуры просьба обращаться по телефону: 7 (095) 291-55-84; 548-82-32.

*E-mail: lpamotech@mtu-net.ru
www.pamyatniki-otehcestva.ru*

Редактор-составитель Тамара ВЕРЕСОВА
Художник Геннадий МЕТЧЕНКО



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

ВТОРОЙ ВЫПУСК

Составители:

Николай Панченко и Нина Бялосинская

Редакционная коллегия:

Н.Бялосинская, В.Корнилов, Р.Левита, В.Медведев, В.Миляев,
И.Минутко, Б.Окуджава, Н.Панченко, Ф.Поленов, В. Фогельсон

СОРОК ДВА ГОДА СПУСТЯ

Дорогие читатели!

Выпуск в 1961 году альманаха «Тарусские страницы» стал событием в литературной и общественной жизни России.

Купить его оказалось практически невозможно, тираж исчез в мгновение ока и уже тогда стал библиографической редкостью.

Второй выпуск «Тарусских страниц» вышел через сорок два года после Первого. Замысел нового выпуска – повлиять на духовный уровень отечественной литературы, заметно упавший за последние годы, представив для этого ряд творческих удач мастеров и «молодых» шестидесятых-восьмидесятых годов. Он наследует главный принцип «Тарусских страниц» – открывать таланты. В альманахе представлено и русское Зарубежье, а также материалы из архива, эпистолярное наследие, мемуары. Книга была собрана в 1990 году, но и сегодня, в начале XXI века, она не менее актуальна.

Двенадцать лет редколлегия «Тарусских страниц» тщетно боролась с напором капитализации книжного рынка за выход книги к читателю. И вот она вышла. Исключительная заслуга в этом русского литературного журнала «Грани». Второй выпуск счастливо повторил судьбу Первого – он был раскуплен мгновенно.

Редакция журнала «Грани», идя навстречу читательскому спросу, намерена в начале будущего, 2006 года, выпустить в свет дополнительный тираж Второго выпуска «Тарусских страниц».

Заявки на книгу направлять в журнал «Грани» по следующим адресам:

Ул. Милашенкова 17–61 Россия, 127322 Москва
P.O. BOX 210726 San Francisco, CA USA
e-mail: grani_journal@yahoo.com
zoiak@mail.ru



Последнее путешествие

Пронзительной болью получил я весть о смерти моего друга Алексея Хвостенко в ночь на первое декабря...

На снимках нас часто путали: уж больно мы были похожи. А похожести было и впрямь много — такова спираль нашей жизни.

...Познакомились и подружились, как сейчас говорят, на богемных тусовках в московских кафе «Синяя птица» и «Аэлига» и на бесконечных квартирных встречах, где будущие капитаны авангарда и нонконформизма размечали карты дальних и ближних плаваний.

Родился Алеша в сороковом году, я четырьмя годами позже. И похоже, рождение в эти военные годы давало особую стойкость к никудышной окружающей жизни, а уже горя все хлебнули вдоволь. Вот и собирались возле друг друга и тех, кто пережил куда больше нас, тогда таких молодых.

Отсюда почти врожденная потребность путешествовать из квартиры в квартиру, по стране, городам, а позднее и в эмиграцию по всем странам и континентам, куда заносила художественно-поэтическая судьба. А путешествовать приходилось много — Америка, Англия, Германия, Бельгия, Голландия. Тогда, лет пятнадцать тому назад, все, что касалось русского эмигрантского искусства, принималось на

«ура» и наш, еще не угасший энтузиазм давал свои неплохие плоды.

Последний раз с Алешей мы виделись на моей выставке в Москве на Гоголевском бульваре, 10, посвященной тридцатилетию, так называемой, Бульдозерной выставки, где почти все выставленные картины тех, кто, к сожалению — или — к счастью! — уже не живет в России...

Я всегда считал Алексея Великим Путешественником.

Он свободно отправлялся в дебри джаза — был и автором, и исполнителем; играл с увлечением первооткрывателя почти на любом инструменте.

Путешествовал в поэтических строчках своих стихов, баллад и поэм и увлеченно уходил вглубь, в библейность и неистребимый авангард.

Путешествовал он и в своих скульптурах, соединяя несоединимое, и все они звучали по-новому, совершенно неповторимо.

Самым поразительным для меня все эти годы — а знакомы мы были без малого тридцать пять лет! — были его путешествия в друзей, знакомых, а порой и почти незнакомых людей. Он был «свой в доску» и с баронами и с людьми совсем другого, как говорят, социального уровня.

Вот и отправился он в свое последнее Большое Путешествие, в ту страну, о которой он много пел в своих песнях...

В своей песне-предсказании «Под небом голубым...» он вещает нам о мире своем, талантливо-непредсказуемом; о мире нашем — только так и мог жить многоталантливый ХВОСТ.

Закончился его Главный Спектакль, в котором черно-красный занавес скрыл главного режиссера. И хотя немного актеров нашего поколения остались зрими, нужно продолжать эту удивительную пьесу Алексея Хвостенко, в которой пока, к счастью, конца не видно...

*Вячеслав Савельев
Художник и поэт
Париж
Декабрь 2004 года*

О Б Р А Щ Е Н И Е

редколлегии журнала ГРАНИ к русской эмиграции,
литературной молодежи и студенчеству стран Европы,
Америки, Азии и Австралии

Нет сегодня в России еще журнала с такой удивительной, прекрасной и трагической судьбой, как ГРАНИ.

С момента основания, за свою более чем полувековую жизнь, журнал помог выжить русской литературе под коммунизмом и доводил до подсоветской части интеллигенции традиционные линии российской культуры, которые не только сохранились, но и развивались в эмиграции.

Творцы журнала никогда не знали, какое количество экземпляров — порой с риском для жизни тех, кто это делал, — пересечет границу. Но они были твердо уверены в том, что каждая их строка обязательно будет прочитана ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко второму, третьему, четвертому... и по цепочке окажется у человека, который перепечатает его в нескольких копиях.

В том, что идеи свободного мира расходились за железным занавесом как круги по воде, есть бесспорная заслуга ГРАНЕЙ. Взрыв гэбистской бомбы у редакционного порога свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче можно распространять любые идеи, печатать любую литературу, однако восприимчивость общества невероятно упала.

Если в гробовой атмосфере официального единомыслия тоталитарного мира эффект ГРАНЕЙ и ПОСЕВА был эффектом громкого шепота среди тишины, то сегодня, когда сотни независимых источников предлагают свои — увы! — часто совершенно безответственные версии, объяснения, программы и прогнозы на будущее, информационный шум стал ревом Ниагары.

Вот почему все больше сбитых с толку людей обращаются к привычным и проверенным журналам, радиостанциям и т. д.

Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип ГРАНЕЙ — знак качества высшей пробы. Этих людей не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально их количеству. Все мы помним, что куда меньшее число диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-нибудь будет названо «чудом конца восьмидесятых».

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышущие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, расистами, изоляционистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время и исключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, просим Вас помочь в распространении журнала в 2005 году от Р.Х.

За 2004 год вышли №№ 209, 210, 211 и 212, которых у Вас, возможно, нет.

Деньги (по USD 25,00 за номер) для Америки, Австралии, Европы и Азии (включая доставку авиапочтой) следует отправлять почтовым переводом или чеком по адресу:

**«GRANI» P.O. BOX 210726
San Francisco CA 94121 USA.**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег убедительно просим известить по вышеуказанному адресу в США или:

e-mail: grani_journal@yahoo.com

Редакция журнала ГРАНИ.

Принимаем заявки на подписку 2005 и 2006 годов от Р.Х.

Учредитель:
Journal «Grani»

**Адрес редакции журнала ГРАНИ
для оформления подписки, писем и сообщений:
«GRANI» P.O. BOX 210726
San Francisco CA 94121 USA.
e-mail: grani_journal@yahoo.com**

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,
не обязательно выражают мнение редакции.*

Не принятые к публикации рукописи не возвращаются.

Перепечатка без разрешения воспрещается.

Подписано в печать 24.03.2005. Формат 84x108/32
Печать офсет. Бумага офсет. № 1
Усл. печ. л. 13,23. Усл. кр.-отг. 11,23. Уч.-изд.л. 12,23
Тираж 750 экз. Заказ № 112.

Отпечатано в ЗАО «Издательство ИКАР».
Москва, ул. Ак. Волгина, д. 6.
Тел.: 936-83-28.

Journal «Grani»

**Журнал ГРАНИ-2005:
условия подписки для дальнего Зарубежья
на № 213, № 214, № 215 и № 216**

Америка, Австралия, Европа и Азия вкл. доставку авиапочтой	ам. \$ 90
Доплата за подписку через представительства	ам. \$ 10

**Торговые представители
члены редакционной коллегии:**

РОССИЯ Э. Красовская
121069, Москва,
Борисоглебский пер., 6
E-mail: M373@mail.museum.ru
Тел.: (095) 202-3543

АМЕРИКА A. Avisov,
715 Newhall Dr
Hillsborough, CA
94010 USA

ФРАНЦИЯ N. Fedorovsky,
16 square J.-B. Pigalle
77680 Roissy-en-Brie
Tel.: 01.60.28.36.57

**Спрашивайте ГРАНИ
в библиотеках Москвы
и Санкт-Петербурга**

Легко и радостно жить тому,
кто ищет в других хорошее,
ищет и находит.

Исканием своим помогает он тем,
в ком ищет, раскрыть и проявить
светлые г р а н и души. Но для этого
он прежде всего в самом себе
должен раскрыть их, должен стремиться
к совершенствованию.

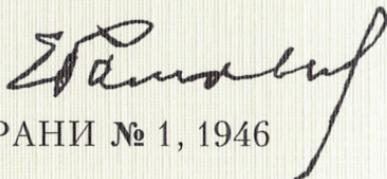
Каждый человек —
часть органического целого, человечества.
Совершенствуется часть —
совершенствуется целое.

Тот, кто становится на путь Правды,
помогает всему человечеству
стать на тот же путь.

А необходимость этого, может быть,
никогда так не была велика, никогда так
не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая
и ответственная задача
стоит перед теми, кто служит Слову, —
Слову Правды.

Тогда подлинным гуманизмом будет
проникнуто творчество художника
и оправдано в служении Человеку,
Правде человеческой, Правде Божьей.



ГРАНИ № 1, 1946